

**ИВАН
Макаров**

**Черная
шаль**

**Черная
шаль.**
РОМАН

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Мне давно уже внушили, чтобы я написала эту хронику о себе. После того как мое дело так широко огласилось, меня даже уверили, что получится совсем необыкновенный, очень значительный и важный документ. Меня один какой-то человек перепугал даже. Так перепугал с этой хроникой, что теперь у меня установилась особая болезнь, которую, впрочем, может заболеть и всякая женщина, если ее сильно, пожалуй смертельно, а главное, неожиданно испугать.

Испуг этот случился в тюрьме. В то время я была приговорена к расстрелу и хотя хорошо это понимала, но я никак

не ждала, что за мной придут, что меня «вызовут». В тюрьме среди арестантов это слово «вызовут» привилось по-особому: уж раз кого-либо «вызовут», то, значит, уж прости-прощай.

А я не ждала, хотя, повторяюсь, я была приговорена и уж все мое дело заформилось и других моих соподвижников-товарищей развели куда-то: то ли по отдельным камерам, то ли уж их «вызвали», прости-прощай, навеки-навек. Потому я не ждала, что меня «вызовут», и даже наоборот: уверилась, крепко-накрепко уверилась, что меня не «вызовут» совсем, что все уж к тому времени во мне совершилось, что я уже тогда была совсем иной и что меня теперь уж никак, ни в какую не следует приканчивать. В ту секунду, как случилось все с шалью, с черной шалью, еще в эту секунду, может быть, меня и стоило прикончить. Да теперь я и сама вижу, что стоило. Тогда во мне только еще обломилось все, но еще не было известно, что и как образуется. Могло быть и наоборот все, если к тому же учесть всю мою злобность, всю мою тогдашнюю ненависть, все мое презрение, от которого, сама дивлюсь, как я не сгорела, не окоченела. Коль на то пошло, объявляю: что только тогда, тут же, как случилось все с черной шалью, тут же бы и прикончить меня, то есть до суда еще. (По нашему делу я все — и старые и советские — законы научилась тогда в тюрьме разбирать и хорошо знала, что меня приговорят именно так.) И даже не до суда, а до шали стоило прикончить, как только меня подвезли к нашей школе, где судили нас.

Только тогда и был резон прикончить меня. А уж после случая с шалью, после того как во мне все обломилось и окончательно образовалось по-иному, я совсем разуверилась, что за мной придут, что меня «вызовут». Я говорю: от злости моей, от ненависти я бы и сама себя прикончила, и даже была у меня такая мысль, когда меня подвозили к школе, я и прицелилась самовольно определить себе конец и уже торжествовала, что не сумеют они со мной ничего сделать, и всю дорогу, все пятнадцать верст обдумывала, как все это я устрою, так что и моргнуть не успеют.

Так все хорошо обдумала и рассчитала, что даже наметила, об какую именно тумбочку... Подъезжать стала — все как есть, как ожидала, как наметила. Вон и железная тумбочка торчит из утоптанного снега, такими тумбочками обнесен палисадник нашей школы. Хоть тогда уж начинало таять и шла водянистая изморозь, но как раз было скользко около «моей» тумбочки. Думаю: за проволоку ухвачусь, что от тум-

бочки до тумбочки протянута, будто оскользнулась. И вдруг захотелось мне плюнуть судьбе в лицо. Я и гляжу на судью-то, что вышел и с народом вместе стоит — ждет нас, я на тумбочку «свою» гляжу, гляжу — и от злобы трясусь.

Судья. Кто же судья-то? Судья-то кто?... А тут и шаль...

Все, все решительно не так, не по-моему вышло, не по-назначенному...

Разуверилась я, что ко мне придут и меня «вызовут», как и других моих. Уж раз, думаю, сама я не сделала ничего над собой, не сделала по доброй своей воле, а не почему-либо еще — скажем, помешали мне, не дали сделать, — то, стало быть, в обратном уверилась крепко, окончательно... И вдруг ночью приходят:

— Прасковья Горянова!

Меня так и подкосило. Темнеть-темнеть все передо мной, круги лазоревые пошли в глазах, и вдруг тумбочку «свою» опять увидела, только не мокрую от изморози и всю облещенную... густой-прегустой иней на ней. Только уголок один остренький чернеется.

А надзиратель опять повторил:

— Прасковья Горянова. Выходи на свидание.

«Так и есть, — думаю, — всегда вызывают «на свидание». Эх! Прости-прощай, народ крещеный». Иду за ним, а подо мной пол вминается, ровно бы не цемент под ногами, а трячина. И заиндевшая тумбочка с черным, острым уголком плывет передо мной. «Эх, — думаю, — прости-прощай, народ крещеный, прощай, матушка-Москва».

Оказалось, что из редакции какой-то человек пришел ко мне срочно меня описать в завтрашней газете. Приспичило их. Рассказала я ему, опаматовавшись, он и пошел мне внушать относительно хроники этой. А потом стали и другие появляться ко мне в тюрьму: и газетчики, и литераторы-поэты, и просто всякие. И все внушали мне, чтобы я описала хотя бы кое-как, с пято-на-десято, а мы уж, дескать, по-литературному все подклеим и подмажем, получится, дескать, что-то особенное, потому что, если литературно описать мою хронику, со всякими такими поправками и приперчиваниями, то, как они уверяли друг друга, и самого графа Толстого можно «за пояс заткнуть». Документ, дескать, такой получится не о ком-нибудь, а о самой простой крестьянке Р-нской губернии, села Журавинки.

Под конец я разозлилась на них да и послала их всех куда подальше. Очень они все хотят, чтобы мне теперь, после

всего, в колхоз захотелось. По крайней мере, чтоб в хронике я так все подвела и открыла бы им такое тонкое из душевного, почему-де мне ничего и никуда больше не хочется, как в колхоз. Будто уж все в этом и дело. Ан как раз не в этом, а в том теперь дело, что я сейчас и чувствую и думаю только об одном: как я буду отсиживать свой срок. Отсиживать не так просто, как, может быть, некоторые иные, а как я буду отсиживать, именно я.

После всей моей злобы, после всей моей ненависти, после всего-всего, как я отнесусь к этим вот стенам, к этому тюремному порядку, ко всей моей неволе. А может быть, важнее-то всего, всего главней-то как раз то, что тумбочка железная так и осталась тумбочкой.

Ну, все теперь во мне перемешалось, встревожилось, перепуталось — и концы и начала... все... А тут вот вскочило в память, как я вдруг овдовела, а тут и сын Петр — отрезанный ломоть, да горбатенькая девочка покойница Поля.

Горбик у ней тогда еще только завязывался, чуть-чуть спинка, самый хребетик pokrивел от ушиба. Мой муж, покойный Ефим, незадолго до ее кончинушки уронил ее с крыльца на бревно спинкой, самым суставчиком. И как горбик у Полечки обозначился, как начала она бледнеть и худеть, так и Ефим мой точно сбесился: то в запой ударится, то плачет целые сутки, то забуянит. Да так буянил, что однажды старшину с урядником встретил, остановил их среди улицы да как запоем им в лицо:

Отречемся от старого мира... —

и давай против всего порядка им выкрикивать. Все это он усвоил от моего старшего, от Петра.

У нас с того времени все покачнулось, в беспорядок полезло, в беспардонщину какую-то... То с этого дернет, то с другого конца подцепит. Что откуда?..

Я же к Полечке в то время привязалась, душой изболела, гляючи, как она сохнет, как ее пожелтевшая спинка выпирает, как сухая кожа на бочках морщится. А Полечка до того была вылита в меня — и темная и тонкая, что при здоровье ее я только и думала о том, как я ее первой невестой выхожу, как я под старость красой ее упьюсь. Словно на себя на молодую до самой смерти глядеть буду. Вот мне и старость не страшна... Зарок я себе тогда дала, что не перетерплю я ее кончины. Дала, да соврала. Перетерпела, только большого пальца на левой руке лишилась. Я нарочно тогда

его себе отрезала. На сердце очень было люто. Еще в церкви на отпевании, как я смотрела на мертвенькую Полечку и как вспомнила, что она на последней секундочке чего-то испугалась очень и ручкой ко мне потянулась, да не успела схватить и задохнулась, так и надумала отрезать себе большой палец. И сразу же, помню, мне легче тогда сделалось оттого, что я решилась сделать с пальцем, и оттого, что мне больно будет, и тут же принялась обдумывать, чтоб хоть чуть-чуть забыться.

По правде сказать, я еще мало верила, что я действительно отрежу себе палец. Пожалуй, я хотела только попробовать, чтобы отвлечься. Да вот и попробовала...

Так все и сделала, как надумала. Пришла с погоста — сейчас же в ригу. Там у нас соломорезка стояла: ящик на ножках, с одного конца прибита двойная железная дуга, в которой ходит серповидный острый и широкий нож. Я пучок соломы положила в ящик, раза два отрезала ее, так что щеточка стала, потом сунула руку в солому и там, в соломе, чтоб не видно, подставила большой палец прямо под нож и нажала грудью.

Но, помню, надавливала я не сразу, а медлила. И медлила не потому, что испугалась, а потому, что мысли мои отвлеклись от Полечки: вот, соображаю, уж прижало палец, стало быть, сунула верно, как раз, не ошиблась. Сейчас нажму. Уж затрещала перерезанная солома сверху, сейчас дойдет до пальца. Ага! Дошло. Сейчас вопьется в кожу, потом в кость. Как-то порежет кость? Хрустнет ли? Сразу ли?

Так вот и отрезала. Под конец не выдержала да так и навалилась грудью на толстую ручку ножа, чтоб скорее уж. Говорили про меня тогда, что я не нарочно отрезала, — в горе, по отчаянию.

Очень мне помогло это все — с пальцем. Как бы, как же бы я перенесла ту минутку, когда крышкой навсегда Полечку от меня, золотое мое, неоцененное сердечушко мое, от меня закрывали? Навсегда, навсегда.

Ну, как же бы я перетерпела это все, если бы не придумала с пальцем? Да и потом, как ночью, как ночью задумаюсь о ней или когда в дождик растревожусь о моем болезном, как занает у меня все о моей лапушке, так тотчас же палец развяжу, тряпицу, что присохнет, рвану, да еще и ударю, ткну во что-нибудь — в стену или в крышку стола — своим обрубок. Печатаей тогда всюду кровяных наприкладывала.

Ефим мой заподозрил что-то — притих: видать, решил, что

в голове у меня не совсем вяжется. Да, кстати, и мне-то он мысль подал, я даже и прикидываться перед ним стала: иногда нарочно нет-нет да и скажу что-нибудь ни к селу ни к городу. Мне еще больше успокоительнее стало от этого обмана, потому что на него это действовало сильно. Он, мне думается, и пить перестал больше от этого обману, а не от Полечки. А как раз я пуще всего боялась, что он окончательно запьет.

Уж очень тогда не надо было ему запивать. Я уж и тогда замечала, что сосед наш Михайло Кренев учуял всю нашу беспардонщину и нацелился на нас. А уж Михайлу Кренева я из села пуще всех, доподноготней всех и тогда знала и чуяла, что приближаются ко мне корешки, под землей подрастают, пробираются под меня.

Мил ли, не мил? Я-то знаю про себя, что мила, да ты-то мне постыл на сто лет и на сто верст. Да только не скажу я тебе. Да только не покажу я тебе. Не узнать тебе, не изведать тебе. Походи с загадкой, посокрушайся, повздыхай.

Для себя невзначай тогда я открыла кое-что такое, чтобы навек присушить к себе любого мужика, разве только кроме мужа (трудней всего, по-моему, приворожить мужа: все-то он знает, все-то ему приелось). Обо всем этом неудобно открывать в хронике, может быть, я открою как-нибудь нечаянно в другом месте, чтоб поудобнее и понезаметнее вышло. Но наперед говорю, и всякая женщина со мной согласится, да и мужчина любой, что все дело в «тайне». То есть, чтобы так все сложилось, как у меня с Михайлой: чтобы «тайну» он эту узнал, где она, как она, что она; чтобы и замочек знал, и ключик имел, и даже ключик, может быть, вкладывал, да не вложил, да не отпер, да секретец, самый заманчивый, самый незабываемый, так и не открыл.

Как-нибудь между строк я об этом намекну в другом месте. А сейчас только замечу: кто же себе откажет в таком украшении в жизни, что есть, моа, привороженный вздохатель — вечный, хоть и ненужный, хоть и тайный? Вроде как игра такая в «мил ли — не мил» у нас с Михайлой установилась, с тайными всякими корешками подземными, с отросточками. А это и есть в нашей окаянной жизни одна-единственная радость.

Наперед знала, что приподнимут нас с Ефимом его корешки. Как ни впивайся мы в землю, все одно приподнимут. Ждала уж и чуяла уж. Только не думала, что все так сразу подскочит.

В это разнесчастное утро, зимой, я видение видела. Не так, конечно, видела, чтобы уж как в настоящем, чтоб можно было ощупать, осмотреть, а вроде бы как в памяти вспыхнуло, так ярко припомнилось, точно мне привиделось. Видение это я и потом несколько раз видела. Когда вот, например, вполне определилась моя злоба, моя ненависть и когда я про себя уж обдумала, с кого начать, и решила начать с него (фамилию я покамест не назову, чтобы не путать) и все подстроила так, что, вертись он не вертись, все одно не миновать ему конца, и вот когда Васенька Резцов, мой дружок, забежал ко мне перед тем, как пойти туда, в поле, к нему, мне и привиделось все так же ярко, как и в первый раз. В самый-то первый раз эта страсть случилась на самом деле, не как видение. А уж какое видение я видела первый раз в это зимнее достопамятное утро, то есть то, что было наяву, повторилось как видение.

За день до этого мой Ефим с Михайлой Крневым уехали в город. Он, Ефим, на своей лошади нанялся ему хлеб отвезти, а кстати и письмо Петруше передать на кирпичный завод. Очень тогда нужно было это предупредительное письмо от акушерки из села Дуровщина поаккуратнее как отослать, потому что и тогда нам с Ефимом понятно стало, как оборачивается против Петруши злодейка судьба.

Вечером, как им вернуться, засвистела тогда такая сипуга, такая закрутила-завила, что на дворе у себя заблудиться можно было. Воет, сипит, кружит, снег весь к небу вздыбило, несет его. Куда несет: на небо ли опять, овраги ли до краев завезет, леса ли до самых макушек запесет? Пропал, кто в поле. Ночью еще я очень тревожилась, что наши тронутся в такую пору из города. Прислушаюсь, как она воет, как изба трясется и стекла чуть-чуть не лопнут, так и саму озноб берет. А что да как выехали? А что, как Михайле взбредет в голову испытать в такую разметелицу наше с ним тайное «мил ли — не мил»? Лежу и думаю. Войдет, думаю, сейчас, стряхнет снег с тулупа, подойдет ко мне и посмотрит. Только посмотрит — все мне понятно станет с одного его взгляду.

Да ведь так оно и случилось. И никак не иначе, что так.

Утром этим я насилу-насилу дверь в сенцы оттолкнула — так ее всю замело. Сугроб перелезла и тут же увидела нашу Гнедуху, запряженную в пустые сани, с голодухи всю соломенную пелену раздергала. Мне сугроб этот тоже хорошо

огда запомнился. Как я его перелезала, снегом мне голые ноги обожгло выше валенок. До того вдруг горячо мне стало на мгновение. Тут же мне, для самой себя, навсегда утвердилось окончательная моя уверенность относительно «тайны», относительно «ключика и замочка», на которые я уж наметала и уж посулилась сказать еще кое-что при удобном, при подходящем случае. Одним словом, в этот совсем неподходящий раз, сугроб перелезая в валенках, я так-таки окончательно удивилась, до чего горячи мои ноги, которые обожгло снегом. То есть на самом-то деле не обожгло, а только мгновенно растаяло.

Все вдруг перемешалось во мне, и у Гнедухи на спине снегу горбом навалило, и в сани пустые намело ворох целый. Может, еще жив, думаю, оттереть? Может быть, еще можно? Да как же это? Да ночью-то выбежать бы мне. Да уж не копной же меня придавило, как я спала? Да хоть бы сон какой увидеть от предчувствия, тревожный или страшный, чтоб проснуться? Ведь уж, наверное, здесь же, у ворот, засугробило его окончательно снегом. Ведь и Гнедуха уж, наверное, ржала не раз, пока я спала.

Как держала я ведро в руках, так и зацепила им сугроб, что намело на саях. Вот тут-то мне и привиделось мое видение, моя страсть страшная. Ведро-то целиком ушло в снег, и вижу, что сугроб-то пустой, что в саях-то нет никого, что пусты они. Еще раз зачерпнула, сунула рукой, кафтан ущупала и чуть приподняла его. И вот — черные складки кафтана из-под снега, а между складками снег в сборах, — тут мне и привиделось.

Я уж сообщала, что в самый-то первый раз я всю эту страсть видела наяву, летом, на покосе. Я даже узнала от других, что это бывает в действительности, и что тогда-то все было как есть наяву и никак не видение. На покосе тогда я пошла выкупаться к реке и вдруг на бугре, у дубового куста, на припеке, увидела целый клубень змеи-гадюк. И черные и серые переплелись между собой, — клубень с голову величиной. Говорят, что они в это время выпускают все в одну капельку свой яд, ждут, пока он загустится, застынет, потом обкатывают его, и получится голубой драгоценный камень, очень ядовитый. Тогда они его сообща прячут.

Так вот весь клубень перевернулся тогда у меня на глазах, зашипел, и, может быть, всего минутка, как все змеи-гадюки разбежались. Смотрю я — и бугорок пустой, и кустик дубовый тут, а гадюк — как не бывало.

Было ль? Не было ль? До того все это — в одну секун-
дочку.

А теперь-то уж я знаю, что мне только приметились, при-
чудились эти змеи в клубне. И во второй раз, когда Васю я
подослала в поле убивать, тоже только привиделось, как и в
этот раз. Привиделось — тут же расплодилось, растаяло.
И опять — кафтан из-под снега, складки кафтана, сборки, и
между ними снег. И сани пустые, и сугроб в санях пустой.

— Ефим? Ефим?

III

Или же сердце у него такое проклятое, у Михайлы Кре-
нева, что угадал он, в какую минуту растравить мою душу?
Да и как это вдруг оказалось, что мы ему должны со всех сто-
рон? Как это он так мягко и незаметно постелил нам, а потом
оказалось, что мне одной он приготовил такую скорбную по-
стель?

Кто богат, тот где-нибудь хапнул. У нас на селе так и при-
нято считать: у того — отец, у другого — прадед, у третьего —
дядя. Когда ко мне литераторы-поэты подлизывались, чтоб
хронику мою им дать, так они все доискивались, кто же из
дедов-прадедов Михайлы Кренева хапнул и где, чтобы в
книге вывести его так, очертить его соответствующе.

Хоть Михайло и сам во все горло хвастался, что дед его
Севастополь французам продал за «тридцать иудиных среб-
реников», но все это он для того, чтобы позлить других, а
главное, для того, чтобы прикрыть все тайные корешки, ко-
торыми он присосался к жизни, чтоб не услышал никто, как
журчат подземные ручейки, по которым еще при покойном
отце слышалось к ним богатство. Я так уж давно его раску-
сила. Да только и сама не знаю, как мы поддались, если к тому
же учесть, что я наперед понимала всю эту его систему «ру-
чейков-корешков». До того они тайны, незаметны, что только
поэтому, только этим и сильны. К примеру взять: привяжи
человека катушечными ниточками, оберти его всего, так он,
может быть, не встревожится вовсе. А ну-ка, попробуй его
сразу в цепи заковать? А на деле в ниточки-то его крепче,
чем в цепи, сковали.

[Так вот и Михайло Кренив подвел нас, ниточками нас
спеленал, и все в добро да во дружбу, да в «мил ли — не мил».]

Оказалось, одним хлебом двести пудов нами у него на-
брано.

Он, Михайло, и сам утвердил мне, что ниточки надежней цепей. Цепь гремит, с ней втихомолку не подкрадешься ни к кому.

— Ты знаешь, говорит, Паня... (Паней я ему себя не позволяла звать, так он и тут хитрил: вгорячах будто увлекся, будто да нечаянно назвал, но так назвал, чтоб мне было понятно, что нежность он в сердце ко мне таит, да вот увлекся, и прорвалось, выскочило это нежное «Паня», как будто бы свою родную покликал.) Ты знаешь, говорит, Паня, как мой дед Севастополь французам продал за «тридцать иудиных сребреников»? Вот слушай, Паня (опять «Паня!»). Я насчитаю тебе эти «тридцать иудиных сребреников». Первый, говорит, «сребреник» — рубежа между чужими полосами. У меня Федор (Федор — старший его брат, женатый) в ночное с лошадьми ездит не верхом, а на телегах. Известно, что на рубежах, на чужих хлебах лошади в трисыто наедаются, а оттого и работают каждая в три работницы, и уж из ночного Федька не мог без травы в телеге приехать: там травинку, тут овсинку, в третьем месте — колосок, и у меня — сена возок. Ведь все же это бросовое, все это ничье, потому что рубежа — ничьи. А у меня сена к весне полна рига, а мне за сено — пуд на пуд овса весной в пахоту дают. Да заметь, Паня (опять через увлечение свое — «Паня»)... да заметь, что овес этот каждый пуд у меня не один на базар пойдет, а сам-пят, а то и сам-десять. Не хватило у кого сена, овса, получай у Михайлы пуд, а весной пуд то же, что и яичко к красному дню: за это с урожая три совести позволяет спросить, потому что он, долгозаемщик, с моего пуда тоже пять-шесть пудов выходить может. И сам на два-три пуда в барышах, и мне друг-компаней. Из этого первого «сребреника»-пудика я, говорит, тяну ниточку до самого кончика, потихоньку, не зря, чтобы не лопнула. За этот же пуд сена, что с ничьих рубежей да с дорог-большаков незаметно накашивается, я и землю свою сплахать любого пошлю. Да и спашет он лучше мне, чем свою, потому что любому не расчет мне не понравиться. Не последний, дескать, год в нужде. Тут же на своих-то лошадях я Федора с работником на подрядные работы нанимаю. Ох-ох, какую ниточку я вытянуть могу из этого первого пудика «сребреника»!

При объяснении этом он заметил, что я немного даже люблюсь им, восхищаюсь даже. То есть нет. Он заметил, что я его эти «иудины ниточки» ненавижу, и даже трясет меня от злости на него за этакое бахвальство «иудиными сребре-

никами», но он уже понял, что все равно пробирает он меня этим до самой души и какую-то роль себе там, в душе моей, подбирает. Хотя бы роль, самую невыгодную на первый взгляд: пусть, дескать, вначале хоть ненависть и злоба одна, а уж где ненависть и злоба завелись, там уж и еще что-нибудь зародится. Пусть уж и еще что-нибудь зародится. Пусть уж ненависть, пусть уж злоба, но не холодное безразличие. Чем-ничем, лишь бы связать меня. Так учуял же, окаянная твоя душа, что и самой-то мне непонятно было.

— А вот и еще, Паня, сребреничек. Ты, к примеру, как и прочие, посмеивалась надо мной, когда я старую дугу да оглобли у телеги до углей обжигал да работника после обмолота по соседним селам посылал «на погорельца» собирать. Вам смешки, а мне этот добрый обычай каждый день двадцать — тридцать пудов зерна подсыпал. Дураков учат, а над такими добрыми дураками и сам я вместе со всеми прочими зубы скалил. Так это, говорит, еще не «сребреники», не рубли-целковые, а только пятаалтыннички всего. А «сребреники»-то и... «сребреники»... Да уж так и быть, покажу я тебе «сребреники», настоящие «иудины сребреники». Ты только просматривай да не прозевай, не прогляди. Уж коли острым глазом хвастаешься, Паня, так не прогляди.

На дорожке в ригу мы с ним стояли. Так недобро он мне сказал, неспроста как-то сказал свое «не прозевай, не прогляди». Уж очень звонко как-то. Понятно очень. Я вдруг даже запредчувствовала что-то. Злость меня взяла — прогнала я его. Он пошел, да обернулся, да усмехнулся вдруг очень уж бахвально, уверенно, да еще покричал мне:

— Не прогляди, смотри, Паня. Зорче смотри.

И тут — «Паня». Так закипело все во мне, пуще всего от «Пани». Так, уж словно овладел он мной, уж будто все готово, вертись я не вертись. Осмотрелась я, пальчиком его поманила к себе, он даже растерялся, с лица сменился да тихо-тихо ко мне подходит. А я незаметно пучок соломы из стерновки выдернула и маню его пальчиком.

— Иди, говорю, Мишенька, иди, — а сама жгутик половчее прихватила, колосья-то не совсем вымолочены, увесистый жгутик. Так я его тогда огрела по бесстыжим глазам этим жгутиком, что до самой риги успела добежать, а он все стоял, как вышибленный. А от риги я его еще раз пальчиком поманила да жгутиком погрозила.

В риге я, почитай, полчаса провозилась, выхожу оттуда, да так и ахнула: как стоял мой Михайло, так и стоит. Я назад

в ригу да к плетню припала, гляжу, гляжу на него, а меня дрожь бьет: ровно бы я его не жгутом, а ножом под сердце.

И вдруг, думаю, придет сейчас сюда? И вдруг подумает, что я нарочно долго из риги не ухожу, его жду? Сумерки. Ой, памятны мне эти снежные, пушистые такие сумерки! Мороз. Иней. Иней тогда висел на наших ветлах, вдоль речки. Не шелохнется. Ой, как бы он тогда вошел! Как ребеночка бы меня, как девочку малую. Пальчиком бы не шевельнула я от страха, от какого-то собственного страху.

Эх, может быть, и к лучшему бы — он тогда пришел в ригу ко мне! Да уж и случилось бы все. Да уж, может быть, на это и прикончилось бы все, в соломе, в мякине. Так уж все одно, я никогда этих морозных сумерек не забуду. Иной раз так вдруг теперь, на сорок-то восьмом году, занает о них сердце, о сумерках этих, о невозвратимых моих, о пушистых моих!..

Когда после видения от сугроба пустого, от саней пустых да от снега между складками черного кафтана я прибежала к Михайле, так мне тотчас же припомнилось это его «смотри — не прогляди», эти его обещанные «иудины сребреники». Поняла я все. Да уж и спрашивать не стала. Только вымолила ему:

— Пьяного аль тверезого сманил выехать?

IV

В господа бога, в Христа-спасителя я уже и тогда не верила, а лучше выразиться — не чувствовала его. Да где уж чувствовать, верить?! Да где уж бы ему, господу богу, по миру-вселенной порхать, когда этот мир-вселенная так нагромоздились, что ему, Христу-спасителю, и под ноготком притулиться не дадут?! Не вера, а привычка одна, затыжка такая друг перед другом.

А вот в Иуду я верю. Крепко и перушимо верю и буду верить. И в мощну с его тридцатью сребрениками верю. Вот они, эти сребреники, перед глазами, как толстые осиновые листики. Только вряд ли они из серебра! А наверное, из слез вдовьих-сиротских, из слезинок истинно человеческих, а прожилочки-буковки да знаки на них — всегда чуть-чуть коричневые, так это кровь вместе с потом застыла в этом серебре, в этих слезинках.

Я не верю только, что Иуда на осине повесился. С чего

бы ему, когда вся дорога перед ним одеяльцами ватными детскими устлана? Ходи да трясись мошной со сребрениками.

Он и ходит, он и трясется. Всюду ходит, всюду трясется. Так уж к нему привыкли все, что не замечают ни звона его, ни самого его, с его сытой, ласковой улыбкой.

Много ли из нашего села приметили иуду — Михайлу Кренева? Как бы не так! Мужик как мужик: обходительный, ласковый, а главное — чем-то озабоченный. Так вот и кажется, что о других, а не о самом себе эта его заботливость.

С этой «заботкой о других» он и прикатился ко мне денек спустя после пропажи Ефима, — тогда еще о покойном ни слуху ни духу не промелькнуло.

— Прасковьюшка! — зашептал он, вбежав ко мне. — Беда! Прасковьюшка! Ой, беда, беда!

Встрепенулась я. Что такое? Что такое? Не успел он и слова сказать, как и беда открыла дверь в избу. У меня сердечушко так и дрогнуло, ровно колосок под серпом.

— Здорово живете.

Поди, здорово, гости неожиданные, ненаглядные — урядник со старшиной. Дверь урядник припер, попридержал, чтобы не отошла. Сели на кутнике, молчат. Урядник за табак, а старшина на меня уставился. И вижу я, и чую я, с чего вдруг запунцевалась его гнилая рожа при взгляде на меня. Да и Михайло, вижу, сразу подметил срамные его глазищи. Замычал старшина, как корова при отеле:

— Ме-ме-му-му, — и язык высунул да пальцем его вытирает.

Ух, нечистая сила!

Помялись, похрюкали да все трое ушли, не сказав ни словечка. Зачем, думаю, отчего? Ужели без дела придут эти псы?

Едва ушли они, как вваливаются ко мне двое понятых, с другого конца села, почти и не знаю, чьи эти мужики. Вошли в избу, медные бляхи надели на грудь и сидят на средней лавке. Я и спросить у них боюсь — зачем пришли, зачем надели эти медные бляхи на сермяжные свои кафтаны. Второй раз в жизни увидела я эти бляхи. В первый раз такой бляхой наш староста цыган из села выгонял. Понаехали тогда табором целым, на лугу пляс подняли, а мужики самовары паять, лудить предлагают. День гадают, да пляшут, да самовары лудят, другой, — а тут староста с одним повздорил, тот уперся, зашумел да паяльником на старосту. Староста тотчас бляху надел, шапку снял, волосы расчесал степенно рукой на обе стороны, и цыган моментально присмирел, сдался.

Так мне запала на душу с того дня сила этой медяшки. А тут вдруг — две сразу, да уж не для цыгана на лугу, а у меня, у осиротевшей, и для меня. Сунулась было я из избы, а понятия переглянулись между собой, что-то пошушукались. Один за мной. Я вышла за ригу, к полю, и смотрю в даль. Снега стали оседать, установился наст — чистое, далекое снежное поле. Так меня встревожила эта далекая равнина! Ефим вспомнился. Так и мнится, что вот-вот мелькнет на поле мой пропавший, подбежит поспешно, всю заботу, весь страх мой снимет с души.

Тут вот и разыгралась у меня на глазах эта страшная картина с вороньем. Словно суждено мне было первой обнаружить это. Мне — и никому другому. Конечно, может быть, потому я первая обнаружила, что сама для себя незаметно то и дело совалась за ригу да часами посматривала в поле, не мелькнет ли Ефим.

Вот и мелькнуло. Только не Ефим, а седое воронье. Издали еще заметила я первую-то: низко, над самым снегом, летит, летит, потом, не долетев с полверсты до меня, как взмывает сразу вверх. Ровно бы испугалась чего! Кружить начала на одном месте. Вижу — голову вниз опустила, что-то разглядывает под собой и вдруг как заорет благим матом, как закричит!

Что сделалось? Откуда их сразу столько налетело на этот крик? Все спешат, все орут, целая стая столпилась, мечутся, оглашенные. Смотрю, под ними на снегу словно что-то темное лежит. Затрясло меня всю, забило. Пронзило меня всю.

— Ефим, — шепчу я сама себе, — Ефим. Ефим.

Не стерпела, бросилась к понятому, что за мной стоял, обняла его, как брата родного.

— Любезный ты мой! — кричу ему. — Не мучь, не мучь мою душеньку. Скажи, скажи, ради Христа!

Дрогнул мужик.

— Сын твой скрылся с завода. Урядник нас послал. Сына твоего Петруху караулить. Как явится домой, чтоб сейчас же забрать и доставить.

Конечно, сын к матери явится: куда же он, к кому же он приклонит голову в суровой своей судьбине? Сбежал, значит, Петруша с завода, ловят, значит, его, как зверя выслеживают. Уж не попало ли предупредительное письмо к Петруше, по

милости того же Михайлы, не туда, куда следовало? Куда ему податься в его юные годы, при его несмышленности?

Домой, конечно, домой, к мамке своей, ко мне. А тут уж ждут, сидят с бляхами. Ночь пришла, понятия сменились, другие заступили, а я на печке лежу. Сердце на части рвется. Может быть, бродит, как волчонок, мой Петруша вокруг села, может, подозревает и ждет, что мать родная весточку подаст, учует, выбежит, согреет, отдышит.

А вдруг да он натолкнулся там, в поле, где воронье вилось?

Окна, пока горела лампа, понятия приказали мне завесить плотно-наплотно. Я завесила их дерюжками. Сама завесила от сына родного, от Петруши завесила, от тебя, мой соколик. И непонятно мне вдруг все стало: как же так? Вот чужие мужики пришли, медные бляхи надели на шею и говорят:

— Закрой, Прасковья Горянова, окна плотней, чтоб сын твой Петр не заметил нас, нам велено спать его.

И я закрываю, послушная, молчаливая. Гнусь, как былиночка от бури. А к тому же один понятой попался очень говорливый: так и мелет, так и стелет.

— Военное, — говорит, — Прасковья, время. Пымают, расстреляют в одночасье.

Дурень набитый! Мне, матери, про Петрушу, про сына, сказать такое! Да чувствуешь ли ты, пустомеля, каково мне подумать, что Петрушу схватят, под ружья, под смертушку поставят, а я окна закрываю, чтоб он не подозревал ничего да ко мне, к матери, постучался?!

Только к полночи вдруг сложилось у меня на душе, на сердце, что не придет Петруша, не явится. Даром прокараулили. Совсем успокоилась, даже дерзость появилась. Высунулась я с печки, на ладони подбородком оперлась, гляжу на понятых. Лампа чуть тлеет. Тут вдруг озорство какое-то девичье на меня напало. Взяла да нос им сморщила, да языком дразню их, благо мрак в избе. Потом надоело мне это, надумала я их словами докорить. Сейчас, думаю, подзаведу я вас, нечистые силы. Веник вам ошпаренный в рот, а не Петрушу моего взять, не соколика моего.

— Выверните огонь, — говорю.

— Не приказано, Прасковья.

— Пушай так.

— Выверните, — наседаю я, — а то сама выверну.

— Пушай так, тебе говорят.

Тут меня вконец разозлило, сейчас, думаю, выверну и

брякну им прямо в глаза: «Не видать вам моего Петра, ждите не ждите».

Только я свесилась с печи, вдруг в дверь — стук. Я так и грохнулась на пол. Только и вспомнилось мне на мгновенье воронье в поле да темное пятно на снегу.

Сердце — вешун; ворон безглазый.

Как же я его не послушала, как же я ему не вняла, когда чуяла я, что где-то рядом кружит-стынет мой ненаглядный, мой загнанный волчонок, Петруша?

Горе на пол бросило, а злоба вскочить заставила. Подбегала да лампу задула, и моргнуть не успели мои понятия с бляхами. Опять в дверь — стук, стук. Слышу: понятой, болтун который, шепчет другому.

— Сзади, сзади метайсь. У него не иначе орудие какое есть.

— Петруша, — шепчу я, — сынок мой, сынок мой!

Да как вдруг закричу во весь голос:

— Сынок мой, ловят!

И все опять стихло. Словно бы оглушила я и себя и понятия. Темно в избе, хоть глаз выколи. И вдруг в дверь опять — стук, стук. Опять так же ровно, негромко, словно опасаются чего. Сразу я опомнилась. Не он это, не он.

— Открывай ступай, понятой! — и сама огонь опять зажгла.

Сердце ослепло, знать, вовсе. Не Петруша, а Михайло с урядником ввалились. Ну конечно же не могло никак быть иначе. Откуда же Петруше быть? Откуда ему, болезному? Ужели он с товарищами не сговорился, куда ему скрыться, сбежать? Миленькие, сердечные мои! Уж, конечно, все они там друг за друга, как сам за себя, стоят. Определили моего Петрушу. Позаботились, скрыли. За границу даже, может быть, переправили. Лишь бы жив был, лишь бы здоров. Не знаю почему, но чуяла я тогда, что этому праву, царю Николке, последние деньки пришли. Уж очень на мужиков тогда жали. А уж раз, думаю, власть жмет из последних сил, то и самой ей тошно. От хорошего, мол, власть не станет жать. А тут и война. От одной войны, думаю, лопнет все.

Урядник понятий молча увел с собой, Михайло один остался. Только затихли они наружи, он зашептал мне:

— Приверни лампу, Прасковьюшка, пригаси скорее.

Я пригасила. С перепугу я под его полную власть подпала.

— Это ты уж очень много пригасила. Отпусти, пусть чуть посветлее.

Я вывернула побольше. В лицо ему смотрю: сидит, как мертвец, бледный. Пристальнее пригляделась: он трясется весь. Чувствую, что словно насмерть чем-то напуган.

— Пригаси немножко, — шепчет, — пригаси, Прасковьюшка. Чуть потемнее сделай, Паня. (Опять «Паня»! Уж к тому же и Паней назвал, и белый, как в смерти, и трясется.) Вот так, хорошо, Паня. Сядь сюда. Вот сюда, напротив меня сядь, Прасковья.

Молчит. И я молчу. О Ефиме, думаю, скажет сейчас. Нашел. Тоже, знать, заметил воронье и догадался. А может, а может быть, Петрушу... Петрушу уж схватили?

— Слушай, Прасковьюшка, слышишь, — зашептал он еще тише и замолк.

Я сама не своя, шелотом отвечаю:

— Слышу.

Он мнется, слов не найдет. Уж потом, уж теперь я вот поняла, сколь трудно ему было в тот час. Да и у меня-то душа застыла, окоченела.

— Слышу, — говорю.

Руки у него трясутся, из кармана сверток достал, на стол положил, ко мне придвигает потихоньку.

— Вот, — говорит, — Прасковья, сто... сто рублей уряднику. Уряднику, Прасковья. А старшине... старшине...

— Схватили? Миша, не томи. Схватили?

— Молчи, молчи, Прасковья. Вот, вот ему, сукину сыну, сто... сто.

— А старшине? — спрашиваю. — А старшине, Миша?

Тут же я спохватилась, поняла все. Ни слова ему. Поднялась, огонь вывернула. Светло, ярко стало. Долго мы сидели с ним молча. Он глаз не смел поднять, а я смотрела на него так, что мне от него и брезгливо и жалко его, словно бы власть над ним взяла в одну секунду.

— Ну, довольно, трястись! — говорю ему. — Ступай, присылай.

Не стерпел мужик. Как грохнется головой об стол, застоял. Навек врезалась в память мне эта минутка. Да и сейчас, сейчас-то я не вполне понимаю: зачем, зачем ему надо было так делать? Ведь и меня и себя он затерзал потом.

Ой, Иуда! Ой, Искарriot!

Не буду я вовсе записывать об этой пакости со старшиной.

Только одно — противней всего запах изо рта. Какой-то сырой и сладкий, как у мертвеца.

Вот они, «ниточки катушечные», которыми наглухо пеленают людей. Вот еще что я открою: когда я была маленькая, я видела, как резали у нас поросенка. Погладили его, почесали, потом шестеро мужиков сразу на него навалились и притиснули. Так ведь все же сила: все, что есть, напрягал он, когда почуял конец. Все-все, лишь бы сбросить, вырваться и вздохнуть последний раз.

Вот та лишь разница, что я-то бы одним, кажись, рывком выдернула из него горло со всеми его гнилыми легкими и с его салным сердцем.

Да и Михайлу я на другое утро, как хлебный шарик, мяла. За ночь, до самого рассвета, он всю завалину обмял у меня, весь снег под окнами утоптал, нас добровольно караулил.

— Я, — говорит, — Прасковья, тоже деньгами ему хотел, так нет, знаешь ведь его: «Я — Меньшиков. Скажь, скажь, скажь ей, что отпрыск...» Я ему: ведь в горе, мол, она; может статься, уж вдова. Так нет же, он свое тянет: «Чтоб я, Меньшиков, да деньги взял? Скажь, скажь ей, мол, хрю-хрю».

А у меня на душе — злоба одна, брезгливость. В эту ночь я выбрала только одного человека — Петрушу моего, а остальное все, весь мир вышвырнула вон, словно ведро с тухлыми помоями. Тем утром мне и Ефим уж был ничто. И тревоги о нем ни капли не осталось. А вернулся бы, так, кажись, и его вытолкала бы в шею за порог. Только и осталось на белом свете — я да Петруша. А Михайле мне стало все равно что бы ни сказать, лишь бы нагубить ему, лишь бы досадить.

— Чего же сам-то дрожишь? — спрашиваю.

А он, как барашек, на меня смотрит.

— Как же ты? — спрашивает.

— Чего?

— Вот сразу так согласилась?

А я ему весело да разухабисто:

— Ух, чудо какое — «согласилась»? Люди старятся, а я молодею. Видишь, какая я? Чем больше годов, тем моложе да гибче. Самой захотелось, вот и согласилась. Я, может, давно уж думала породниться с таким «отпрыском», хоть у него всех пожитков — пять десятин купчей да кирпич разваленный под железом.

— Прасковья?!

— Что, Михайло?

Как я согласилась! Как согласилась? Да кому же уступлю

свою долю, раз после горбатенькой Полечки один Петруша, одна родная зацепочка осталась у меня на всем на этом свете? А все остальное — ведро с помоями, в которых бродит красная гуща. Так ведь дело даже не в одном Петруше, не в том только, что он мой сын, мой первенький и последний. Ведь сама-то я не картофелина, не боб, не горошина. Там — другое дело, совсем иное. Там — росток дала, вскормила до зеленого листочка, до красного солнышка, и сама истлела. А тут — Петруша родился, самостоятельную жизнь получил, и сама-то я не перестала существовать.

Даже больше того, даже главное: я Петрушу родила и через это самое родилась. Минуты, мгновенья, которые я испытала, когда разрешалась Петрушей, да они ведь всей жизни дороже! Одно мгновенье всей жизни стоит. Мне бабка Сорокина тогда помогала. Соломки свежей прямо на полу постлала, кипятком ее обварила, чтоб мягче была, чтоб чище, а меня целый час водила по избе. Как я ходила? Какими силами? Разве на это ответишь, разве передашь? В голове, на сердце, на душе, в каждой частице тела, в каждом пальчике, в каждом волоске только одно: надо так. Вот это «надо так» — сильнее всего, больше всего, это и есть самое главное.

Смутно сквозь лазоревый сладкий сон, теплый лазоревый сон я почувствовала вдруг, что все во мне опустело, мне легко-легко. Я могу лежать, витая по лазоревому сну, по этому видению. Нет в нем никаких жестких предметов, никакой помехи. Все лазоревое, нежное, полное и самое радостное. И уже никогда не уйдет от меня и от Петруши это полное, самое радостное, самое мягкое.

Ничего больше не надо. Все желания сбылись. Все, что не было понятным, а только хотелось, и это сбылось в полной чаше. Не надо ни солнца, ни времени — все тут. Когда потом Ефим ко мне подошел, по-лазоревому смешно. Ведь до сего момента он, Ефим, был для меня чем-то главным, большим, был моим господином, а тут вдруг он мне ребеночком послушным показал себя.

Только через это я и узнала, что такое жизнь. Только через это я и накуролесила до смертного приговора, потому что все время ждала, билась, напрягалась всеми силами. Как зверенок, прижатый к земле, ждала и верила, что наступит, придет, образуется вся жизнь, как то лазоревое мгновение.

А иначе — зачем же, к чему же все? Проруби, что ль, нет, веревки все, что ль, вышли, спички, что ль, дороги?

Я тогда так и считала, что Петруша и товарищи его только

и рвутся, только и стремятся к тому, чтоб настало это лазоревое время.

Навсегда и для всех.)

А вместо этого — «иудины сребреники». Решила я в то утро вконец доконать Михайлу:

— Так деньгами, — говорю, — ты хотел его?

— Да, Прасковья, хотел, хотел.

— Кто же врет из вас? А ведь я все у него выпытала. А он мне хрюкал тут, что ты его науськал, да еще до первого прихода ко мне. Спасибо тебе за похвалу от девицы красной, от вдовушки ясной. Откуда только ты узнал, что гибкая, что горячая я, что закачаю я? Уж не во сне ли ты видел меня в постели с собой? Уж не в тот ли раз, когда я тебя колосьями по бельмам отхлестала? Горячо ли? Сладко ли?

— Прасковья!

— Что, Михайло?

— Неужели ты такая?

— Какая?

— Так сразу и согласилась?

— Захотелось. Натерпелась.

— Прасковья!

— Чего, Михайло?

Бросился он из избы, я за ним. В сенцах поймала его за грудки, потрясла со злобой да в лицо ему прошипела:

— Заметил, где вчера воронье кричало?

Как ошпаренный отпрянул, за косяк ухватился, глаз с меня отвести не может.

— Ступай, вези Ефима. Иль брата Федьку пошли, — приказала я ему. Прошла в избу, дверью хлопнула, аж окна загудели.

Минут десять я сидела — ждала, когда он мимо окон пройдет. Кипит во мне все: казись, думаю, иуда, выкопай погубленного из-под снега, сам привези, сам. Еще не то тебе придумаю ужю. Хотела я печь затопить, воды согреть да мертвечину с себя поганую смыть. Сунулась было к затопу — хват, нелегкая его принесла, опять Михайло взошел. И сразу же своим постоянным голосом:

— Прасковья, векселек мне вот на сто двадцать целковых подпиши.

Я не оборачиваюсь к нему, у затопа вожусь.

— Чернил, — говорю, — у меня нет. В другой раз.

— Чернила у меня найдутся, вот пузырек и станок с перышком в приспособлении.

Как я его тогда не зарубила? Как удержалась? Как он тогда совладал со мной?

Подписалась я и спросила:

— Почему сто двадцать? Ведь только сто отдал ты?

— Проценты, — огрубил он и вышел.

Не поедет. Ни сам, ни Федьку не пошлет. Так я сразу и решила, глядя, как он мимо моего окна прошагал, задрав морду. Уж не знаю, с умыслом или без умысла он моим векселем тряс на ходу да дул на него, ровно бы хотел, чтоб чернила скорее присохли. Знать бы, догнать бы его, вырвать бы да уж прямо на скандал поднять на все село, на всю округу. Уж все равно тогда же бы и ославиться сразу, очертя голову.

Да вот поди же: присела, оробела, в угол забились. А пуще всего сообразила вдруг: ради чего ж я на такую страсть, на такую голгофу пошла? Ни с кем ни словечком ведь не условилась, ни с ним, ни со старшиной гниломордым. Да уж и была ли в самом-то деле телеграмма им о бегстве Петруши, да уж не умысел ли его, иуды? Как же, как же я опростоволосилась так, не уговорились о Петруше? Ну, можно ли, ну, мыслимо ли на таких положиться? Ах, думаю, истерзает он теперь меня, кровушку выпьет.

Окаянный! Мысли мои, что ль, он прочитал, душу, что ль, мою колдовством вызвал и все выпытал у ней?

Так весь день я просидела сиднем. Обмыться не обмылась, печь не стопила, в избе хоть волков морозь, а в угол забились да и думаю, думаю. О Ефиме у меня тут самые постылые мысли зародились. Ведь знаю, что это он чернелся под вороньем на снегу, он. Но ведь оказалось, не только горе, а и самые тяжкие хлопоты оставляют мертвые живым: ну, как это, думалось мне, пойду я туда, в поле, откопаю из-под сугроба? Потом что? Крик подавать? Назад в село бежать? За народом? Потом домой везти обмывать к гробу или властей ждаться? Как, как же быть?

И решила ждать. Пусть кто-нибудь, но не я. Пусть! Теперь все равно.

Но воронье? Ведь по кускам растаскают. Ведь — Ефим. Ведь — муж мой. Пуще всего досадно мне стало на эти хлопоты неминуемые. Потом надумала до ночи все оставить. Затемно добегу, думаю, разузнаю: может быть, и не он, не Ефим. Хорошо бы, не он! Хорошо бы, не Ефим! Так бы уж пропал безвестно, безвозвратно, ох уж эти кончики, что нам покойнички оставляют! Трудно-труднешенько их завить-заплести.

Решилась я больше не думать о нем. Пусть как сложится, так и будет. Лучше о Петруше начну думать.

Сумерки уж сгустились, такие посинелые, трескучие да звонкие. Сугробы на соломенных крышах как будто литые сделались. Весь порядок изб серый, грустный. Словно бы коровы такие, огромные, угловатые, присели, ноги под себя, а их и занесло сугробами, заледенело.

Взойдет ли уж солнышко? Осветит ли, растопит ли этот лед? Ведь и людей-то, кажись, всех льдом покрыло.

Вспомнилось мне вдруг о Петруше да о Полечке горбатенькой. Так ярко приметилось! У Полечки тогда еле-еле обозначилось на спинке. Глазки еще только заострились у ней, ярко образовались, неподвижные да вроде как злостенькие, как гвоздики. Уставится, бывало, прямо в глаза, словно упрекает, словно уж чуяла, что навек изуродовали ее.

Я студень тогда разбирала, горшок вынула из печи. Душистый удался студень, такой душистый запах пустил по всей избе. Я Петрушу разбудила мосолики сосать. Он сидит, гложет мосолики, насусолился весь, мне смотреть на него радостно. Как звереныш, зубками скрипит, гляжу — не оторвусь. И вот он сразу как уронит вдруг кость да уставился на печку, где Полечка спала, не моргнет.

— Что с тобой?

— Mam, Полечка.

Словно обухом меня ударило. Оглянулась, а Полечка меня насквозь своими глазками пронизала. Ее, видно, запах горячего студня разбудил. Она высунулась из-за ситцевой занавески да смотрит. Такая обида в глазках у ней, такой упрек.

— Полечка, проснулась? Гуленька, мосолики иди глотать.

Она молчит и смотрит. И мы с Петрушей не едим сами с собой. Вздохнула Полечка да неслышно опять спряталась за ситцевую занавесочку. Подошла я к ней: она не шелохнется, спит. Думаю, уж не привиделось ли?

— Полечка! Гуленька! Иди, мосолики погложи!

Спит, спит, не шевельнется. Ресничкой не дернет.

— Что же такое? — спрашиваю. — Петруша, спит она? — И Петруша расстроился.

— Мама, — говорит, — я досыта наглодался, не хочу больше, — и тоже полез на постель.

Я принялась было опять за студень, да уж дело не клеится,

из рук все валится. Полечка из головы не выходит. Показалось, что Полечка опять вздохнула. Я на цыпочках подкралась к занавесочке да прислушалась к ней. А она чуть всхлиывает, рыдает.

Полечка, голубенок мой белокрылый!

Всего ждала, но только не этого. Иль уж нет на свете такой подлости, на которую бы не польстился иуда?

В этот день у нас опять мобилизованных отправляли на войну. Прошел слух, что их отошлют прямо против турок, на турецкие горы. Уж решил будто наш царь вконец отступить перед германцами, зато турок задавить. Кажись, никогда такого воя на селе не было. Стариков бородачей угоняют на турецкие снеговые горы.

Вначале хоть и выли, но все шло хорошо. Собрались у мельниц за селом старики, бабы, дети чумазные навеки прощаться с отцами, братьями.

Тут и я на общем горе решила на люди, после моего позора, показаться. Подхожу к бабам, а с ними наша богомольщица, глухая Фрося тараторит. Многое она и набаламутила, эта глухая бабка Фрося. Она ходила в Иерусалим и будто сама видела турецкие горы-голгофы. Окружили ее бабы, а она сгорбилась под своим посошком и поет:

— Труден, девоньки, гибельный путь на горах-голгофах. Христос-спаситель хрест нес по ним, оттого все горы-голгофы покрыты маленькими камешками, похожими на человеческую ступню. Оттого, девоньки, что Христос ступал под тяжелым крестом из кипарис-дерева, ступни его отпечатлелись в камне. Мало-помалу вся гора покрылась такими ступнями. Ступит теперь который человек, камешки катятся прямо в пропасть. Иные горы каменным горохом покрыты. Так, девоньки, было: шел Христос перед распятием молиться в Гефсиманский сад, глядит: какой-то фарисей сеет горох. «Чего сеешь, фарисей?» — спрашивает Христос. «Камни», — отвечает фарисей. «Ну, пусть будут камни на веки вечные, аминь», — сказал Христос. С той поры каменный горох. Даже ступить не моги, сейчас в пропасть скатишься, а в пропасти и дна нет. Вот за теми горами турки живут. Не достигнуть, девоньки, не достигнуть до турок живым.

Так разбередила она всем бабам душу, так всех навсполошила, или уж натерпелись все, — только вдруг, прослушав бабку, завывала одна, другая, третья. Как принялись все, как

загудели! Кто послабее — на снег грохнулся, в падучей визжит. Подводы смешались в кучу. Мужики некоторые в голос, по-бабы запричитали, воют все, толкутся, ровно слепые, сумки с сухарями из саней в сани перетаскивают. Знал ли кто, что он в те минуты делал? Понимал ли кто хоть что-нибудь в этом вавилонском плаче?

А тут, на грех, лошадь чья-то очень испугалась — захрипела, взвилась, выскочила из оглобеля, так что опрокинутые вверх полозьями сани очутились у ней перед мордой. Смешалось, спуталось все. Что тут было! Что тут получилось!

Вот в эти-то минуты я и узнала, насколько же во мне все кипело, все в камень обернулось. Эх, думаю, двинуть бы всю эту кашу из орудий! Да так, чтоб уж яма одна осталась! Сразу бы стихло все, заглохло, а весной бы на этом овраге бурьян пошел. Уж лучше бы, лучше бы бурьян вырос на этом месте, чем этот всенародный плач. В бурьяне хоть бы жизнь своя новая завелась, птички бы гнезда свили, деток — Полечек да Петруш вывели. Так ужели этот вой есть сама жизнь? Ужели же плач этот вместо лазоревого счастья всем людям на веки вечные определен?

Еще подумала я в эти минуты, что я одна только и удержалась от всесветного припадка. Мне даже на себя гордость появилась такая. Все, думаю, с ума сошли, а я стою, и никого мне не жалко, и на всех мне наплевать. И даже притупилось мне все это, только и занимало меня: вылезет ли лошадь, что взбесилась, из хомута, оборвет ли упряжь?

Вот тут — в моей гордости, в моей злобе он и подсадил меня. Слышу вдруг, сзади кто-то дышит неровно и громко. Близко-близко ко мне стоит, даже жар его я почувствовала.

«Кто это?» — думаю.

А он шепчет:

— Прасковья, Прасковья. Упредить тебя на соседнем деле хочу. Слышишь?

Я не оборачиваюсь. Он ближе, все ближе, к самому уху моему наклонился:

— О Петре твоём, слышишь?

Я вздрогнула, и он заметил это. Помолчал, потом уж громче, уж не шепотом:

— О Петре твоём вести нехорошие. Будто к старшине телеграмму прислали о нём.

Да что же это? Да что же это такое? Насмешки? Издевательство? Да ведь из-за этого, из-за телеграммы, я и на казнь пошла, через это я ведь и душу-то свою распяла.

Повернулась я к нему: врешь, думаю, не выдержишь ты перед моими глазами такой ажи, откажешься тотчас. Образу свою кулацкую, самую зверскую на этом свете, в моих глазах, как в зеркале, увидишь. А он и веком не дернул.

— А деньги-то? — говорю. — А сто-то рублей уряднику, а? — И пересеклось у меня все в горле.

— Так я, — говорит, — Паня, не знал, за что. Вижу, идут к тебе с понятными, думаю — шабаш. Я и... А что к чему, я, видит бог, не знаю.

Тут и сломил он меня. Тут и растерялась я. Что и куда делось от моей гордыни! Сразу вдруг мной овладел этот общий плач, затряслось во мне все, зарыдала я, завывала я, заголосила пуще самой последней плакальщицы.

Не помню, как он меня увел, что он со мной делал, чем все кончилось. Твердо могу одно заявить: не хотел ли он после старшины, слезы ль ему мои помешали, иль сам он в ту ночь проплакал вместе со мной?

V

Выпал мне тогда памятный денек, когда все сразу — и с Петром и с Ефимом — разъяснилось. По крайней мере, для меня все прояснилось, особенно с Петрушей. Да уж поздно было, да уж не к чему было. Да и знала ли я тогда, какую скорбь, какой крест взвалит он на меня? Уж я к тому времени, как бабурочка в паутине, у Михайлы-паука запуталась, и уж биться перестала, и уж притихла. Да еще такое смирение на меня напало, что я сама теперь дивлюсь, как это могло стать такое смирение при моем строптивом характере?

Я в сны не верю. Мне толково разъяснили, что сны складываются из пережитого. Но вот расчудесный мой сон таким оказался пророческим, что сбывся он весь как на ладоньке.

Покорность моя, смирение мое началось с того всесветного плача у мельницы, уж с той минуты, когда Михайло не дрогнул перед моим взглядом, сообщив о Петруше. Уж с того момента я и согнулась, как горькая рябина...

Через недельку пришел он ко мне днем. У меня в избе грязь, все переворошено, все раскидано, стужа, на окнах иней на вершок настыл — грязно-лиловый такой иней, страшный. Углы в избе промерзли добела. Так, должно, гробы в земле промерзают зимой. Самое всю подвело. Я за всю эту неделю горячей ложки не хлебнула, да и хлебнуть-то нечего было, хлебом-то мы в ту зиму к святкам подбились начисто.

Уж не помню, с голоду, что ль, я тогда решила умереть. Пришел утром, оглядел избу, оглядел меня.

— Ты, — говорит, — Прасковья, на цыганку стала похожа. Высохла... Я, между прочим, сосчитаться с тобой пришел. Лошадь у меня в мобилизацию берут, а я хочу твою Гнедучку вместо своей поставить. Старшина мне такое уважение доставит, а тебе все равно продавать.

— Все одно, — говорю я.

— Долги когда-никогда отдавать?

— Когда-никогда, — отвечаю.

— Времена ноне, — говорит, — переменчивые, военные.

— Переменчивые, — откликнулась я.

Ушел он, а я легла, забылась, и тут вот привиделся мне этот сон. Надо сказать, что я хоть на соседнем деле и близко, но ни разу не была у Михайлы на дворе, никогда не видела, что у него там, какие хлевы-захлевки и какие заборы-переборы. Ворота у него всегда закрыты.

И вот вижу, вижу я во сне (до того хорошо и плавно все идет, как наяву!), будто запрягаю я его гнедую огромную матку в нашу телегу, кладу на дно вилы, подъезжаю к его воротам, открываю, и все передо мной, как на картинке: направо — теплые, глухие хлева, прямо передо мной — загон для овец, дневник из струганых жердей, налево — большая куча навозу, на ней деревянная лопата лежит. Двор очень сухой, опрятный, и навоз сухой, легкий. Полный навильник я захватываю и бросаю в телегу. Так мне все подробно и четко запомнилось.

А главное — привиделось мне и запомнилось все мое настроение: ровное такое, покорное, смиренное и такое сиротливое. Накидала я навоз в телегу, подгрести деревянной лопатой и поехала в поле, на его же полосу.

Когда Михайло запутал меня вконец с долгами, когда он затискал меня к весне батрачкой к себе, сон мой этот и сбился точь-в-точь, именно в тот день, когда все разъяснилось и с Ефимом и с Петрушей.

До того все это чудесно, что, случись это не со мной, я бы первая усумнилась.

Меня тот же литератор лысенький предупреждал и не велел мне включать в хронику этого моего сна, потому что, дескать, «чертовщина какая-то».

Может быть, и вправду «чертовщина», может быть, я, предчувствуя батрачество, и заглянула когда-нибудь на Михайлов двор мимолетно, может быть, и думала что, да забыла, может

быть, может быть... Но случилось так точка в точку: запрягла я его огромную гнедую матку в нашу телегу, положила на дно вилы, открыла ворота — и ахнула. Все как во сне: и хлеба направо, глухие, обмазанные глиной (точно такие именно я и видела во сне), дневник для овец из сосновых струганых жердей, а налево — куча сухого навоза и деревянная лопата.

Накладываю я навоз в телегу — легкий, сухой, полные навильники захватываю — и вдруг замечаю, что настроение мое иное, смиренное сиротское я уже видела во мне. Иль уж я так и поступила, как видела во сне?

Выехала я с навозом за село — слезы, слезы у меня так и бегут, так и катятся по щекам, что капли дождевые по яблокам. Кто же, думаю, меня подменил? Куда же улетела от меня вся моя гордыня? Где же мое лазоревое счастье? Где Полечка, где Петруша, где Ефим? Где все, все? Да и что это такое — «все»? Как же это? Что же это? Для чего же родилась я и живу? А тут вдруг и вспомнилось мне, как я в последний раз Полечку в гробу поцеловала. Липкий холод, чужой какой-то холод ее мертвого лобика, лобика Полечки моей родной. Будто мошком покрыт. До сих пор мне все казалось, что еще не кончено, что еще что-то непременно случится, что Полечка как-то еще «будет». Оказалось, глазам недоступно вовсе это окочение. Ведь только в этот миг, как я ее в последний раз поцеловала, прикоснулась к этому холоду губами и как меня в самое сердце уколол этот холод, я и почувствовала, я и поверила, что Полечка мертва.

Заволокло у меня слезами глаза, помутилось зрение, вдруг палец у меня отрезанный заныл. Так заныл, так заныл, словно бы заусеницы на нем, на несуществующем, задралась. А может быть, не палец, а сердце? Может быть, в груди у меня так заныло все, а мне показалось, что палец? Я его сунула в рот да прикусила. Еле заметила я, что кто-то двое быстро бегут ко мне наперерез с поля и вроде что-то кричат. Известно, что людям всегда в горе бывает вроде как стыдно отдаваться слезам, выплакаться. Я не думала, что ради меня, именно меня ради и пересекали они, эти двое, мой путь и мне, оказывается, кричали. Я согнула глаза, наскоро вытерла глаза и еду, лицо прячу от них.

— Прасковья!

— Прасковья! Ефима твоего везут.

Я и не поняла ничего в первые минуты, да еще и переспросила машинально, словно бы какую вещь потеряла, а теперь ее нашла:

— Нашли? Где нашли?

Только помню, как-то особенно я подчеркнула слово «где», «где наши?». Уж потом я спохватилась, почему я выделила это слово «где», уж значительно позднее, когда это «где наши?» так неожиданно, так страшно разыгралось для меня.

Подошли они ко мне — солдат молодой, с шинелью внакидку, рука перевязана белым чистым бинтом, и девушка. Он сразу забежал перед лошадыю, остановил ее и здоровой рукой по глазам слегка похлопывает, ласкает.

Так подробно мне он запечатлелся: перевязанную руку он тоже приподнял, так эта перевязанная рука шла к его зеленой рубахе и его бледному, хотя и круглому лицу.

Это и был Василий Резцов, — Вася, мой Васенька, мой страдалец горький, мной приведенный на страшный крест.

А ее, Марью, эту Маньку Казимирову, эту ее черную шаль, черную шаль, которая сыграла в моей жизни окончательную роль, я разглядела не вот, не сразу. Да я ее тогда впервые только и видела. Слышала о ней только краем уха, знала, что где-то на Миллионном порядке, где у нас живут самые обнищавшие бедняки, есть такие Казимировы; наши ли сельские, заезжие ли, что прижились у нас, — четко не знала. А вот тут сразу и поразила она меня собой. Родятся же ведь вот такие, как Манька. В житейской поспешности их часто и не заметишь, любой дотошный жених проглядит такую. Мелькнет, сереньким покажется — и все. Так и решишь, что серенькая бабенка. А попристальнее взглянешь — и пропал. Поглядит на тебя, и все равно — будь ты мужчина, будь ты женщина, стар ли, млад ли — она тут же незаметно, невидимо, словно бы воздух, скользнет к тебе в душу, будет ходить там, топтать твою душу ногами, осквернит, оплюет ее всю, и все равно тебе сладко будет, и все равно ты ей простишь все.

Ребенку своему такой обиды не простишь, а ей простишь. Взглянула — и словно бы с той поры приросла, присосалась и стала твоей частью неотъемлемой, словно руки, ноги иль голова.

Первое время после этой встречи я не могла дня прожить, чтобы не насмотреться досыта ей в глаза. Такие они у ней необъяснимые: светло-зеленые ли, серебряные ли, или золотистые. День, два, неделю будешь смотреть и не откроешь их

цвета: и светло-зеленые, и серебряные, и золотистые. Особенно я любила на них смотреть сбоку, когда она поведет ими чуть-чуть в сторону и кажется, что они у ней в это время немножко раскосые: расплавленное серебро, и по нем живые светло-зеленые прозрачные камушки с черным, блестящим зрачком. Мне в тюрьме один литератор рассказывал, что один самый знаменитый художник, по фамилии Врубель, будто бы всю жизнь был одержим одной мыслью нарисовать глаза своей жены. Сколько же будто он выстрадал ради этой цели! Нарисовал, говорят, самые лучшие в мире картины, с ума сходил, вылезился — и опять рисовал, а я вот голову на отсечение даю, что он так и не выразил то, ради чего сходил с ума. Должно быть, это и были Манины глаза: и огонь в них, и холод, и радость, и печаль, и любовь самая сладкая, и подлость самая низкая.

Тут я наперед признаюсь и выдам один секрет мой. Я одно время, когда у нас с ней дело до огня дошло, очень тосковала без ее глаз. Уж не так ли я тосковала, что в тоске этой случайно напала на светло-зеленый осколок толстой бутылки? Я тогда, как сорока, бросалась на все блестящее. Открыла я какое-то сходство в этом светло-зеленом толстом осколке, если смотреть сквозь него, с ее глазами. Потом уж, в революцию, когда городских барынь петух клюнул в одно место, я у одной на картошку выменяла серебряные часики. Часы мне ни тогда, ни теперь не нужны были (смертушка свой час без часов высмотрит), так я внутренность из них выкрошила, а крышки приспособила на манер медальончика да вложила туда осколок. Признаюсь, что и теперь я его ношу на шее. Так что пусть товарищ следовательно вел наше дело, теперь раскается, что он так долго допытывался относительно этого осколка и никак не хотел мне его отдать назад потому лишь, что я упиралась признаться, зачем я его на шее ношу. Совсем напрасно он заподозрил, что стекло это отравлено на случай моего самоубийства. Да и доктора, которые обгрызли этот мой осколок, пусть устыдятся. Мне так прямо смешно их предположение, что, дескать, могла подсудимая хранить этот осколок для того, чтоб проглотить и умертвить себя в крайности. Смех один, да и только.

— Мы к тебе шли, — говорит Вася, похлопывая лошадь по глазам, — о Петруше разузнать. — Они с моим Петрушей друзья были, хоть Вася и постарше. — Догнали. На телеге везут, мы за тобой. Ты, Прасковья...

— Где, где нашли? — крикнула я.

Тут меня и ударило обухом по сердцу.

«Зачем, зачем же, — думаю, — спросила — «где нашли»? А вдруг скажет: там. Там, где воронье вилось зимой. То есть вышло, что я знала да мужа родного, папку Полечки несчастной, родного отца Петруши, воронью на растерзание оставила. Да ведь вышло, что и я с ним, с Михайлой, заодно?

— Землю пошли мужики делить и напали, и очень не тронулся еще. Маня, верно, Маня? Говорю, что не очень. Вот уши только обгрызены. Зверина, должно. Мыши или хомяк. Нос тоже немножко похватали.

«Вася, Васенька! — восклицаю я про себя. — Уж не чуешь ли ты мой страх, уж не нарочно ли ты, соколик мой, умолчал, «где» именно нашли? Уж лучше потом, одной, наедине, невзначай как-нибудь узнать — «где». Не говори, не говори, желанный».

Тут я прошептала ему самое что ни на есть лучшее, что я ему желала. От всего сердца, от всей души пожелала. Как молитву чистую, непорочную прошептала: «Дай же тебе бог слюбиться с ней, с этой кралей писаной, как голубок с голубкой, и счастья вам полную душу».

Ой, знать бы тогда! Ой, чують бы!

И тут чудесно раскрылся мой сон. Не видела я тогда, как доехала до Михайловой полосы да на ней сбросила навоз. Так и вышло. Слезла я с телеги, а Вася завернул лошадей в сторону, подкрутил да и опрокинул телегу набок. Маня тем временем сняла с себя эту свою черную теплую шаль с махрами, быстро, как-то неслышно накинула мне на плечи, сама взяла вилы да в одну минуту очистила ящик и помогла Васе телегу направить.

Весна-то была еще очень ранняя, сама-то еле-еле нагрелась, не то чтобы людей греть. В горе да в слезах едуци, я не заметила, как застыла. И так мне ловко Маня накинула эту шаль, согретую своими плечами, так вот словно теплом, которое у ней в глазах, обволокла меня.

— Садись, тетя Паня! — говорит она. — Не раскрывайся, да не раскрывайся же. Вот так, садись, — закутала она меня, с головой закутала. Да ведь так закутала, что и лицо закрыла. Сообразила, что плакать я буду и что мне, может быть, захочется скрыть слезы.

— Ты не убивайся, тетя Паня, теперь не сможешь слезами, — говорит она, сама отвернулась, чтоб уж мне волю дать.

И Василий тоже:

— Да, да, ты, Прасковья, конечно, напрасно. Ведь уж теперь...

Известно, что в таких случаях речь у всех бывает длинная да нескладная.

Плакать? Да нет же вот! Когда хочешь, так не заплачешь. Глаза сухие, только чувствую — веки пылают. Тут-то я и повисла на своем — «где нашли?».

Когда впоследствии я Васю Резцова послала в поле убивать и когда убитого привезли в село, я со всеми вместе ходила его смотреть. Душу мою тогда, как омут в безветрие, ничуть не поморщило. Только интерес у меня был: посмотрю, думаю, не дрогнула ли у Васи рука? Потому что мне надо было окончательно определить Васю.

А тут, а в этот раз, к Ефиму домой едуци, я почему-то вдруг решила, что люди проникли в мою тайну с Ефимом.

Уж не потому ли, думаю, Вася сказал, что только уши у Ефима обгрызены да нос похватали и что ничего-то воронье не растаскало, уж не потому ли, что почувствовал он что-то?

Когда я народ увидела у нашей избы и когда передо мной расступились все, я подумала даже, что меня сейчас же арестуют за соучастие, что все теперь открылось, все обнаружилось. Хотя голос какой-то и шептал мне все время: «Да кто же знает? Да как же могли узнать, как же можно проникнуть в мысли чужие?»

Глядят на меня все, а у меня глаза сухие. Хоть бы заплакать, хоть бы натереть мне их! Мне показалось, что зашептались все и что шепчутся как раз о том, что я совсем не тронулась своим горем. Таким чужим оказался для меня мой Ефим, хоть он и отец моих Полечки и Петруши, что все горе мое свелось к тягости встречи с этим сбежавшимся народом, к тому, что вот на люди вывел меня этот случай и я иду сквозь строй и будто весь позор мой всем известен и что в избе ждет меня что-то окончательное...

Сзади меня Маня и Вася шли. Мне к ним, к ней особенно, хотелось обернуться. Думаю: как погляжу ей в глаза, так и укреплюсь.

Оказалось, так это проклятое сборище людей, над которыми я еще недавно у мельницы насмехалась даже, обескрылило меня теперь, так скрутило, что я и обернуться не посмела к ней, к Мане.

Вот и порог. Дверь открыта. В избе у меня мрак и сыро, по-зимнему, завалину я еще не отвалила. Народ в избе не

пустили. «Видно, урядники и понятые тут, не пустили народ в избу, — подумалось мне. — Ну, значит, конец».

Тут вдруг Манина черная шаль, которой она меня накрыла, забеспокоила меня. Мне показалось, что если меня заберут, так и с шалью что-то сделается.

Остановилась я, распрямилась, скинула шаль и, не оглядываясь, сунула ее Мане.

Ни разу перед тем я не подумала о Михайле. Из головы вон, что Михайло прикончил Ефима. А ведь я-то еще тогда знала, и когда впоследствии я вынудила его рассказать мне все подробности, так это все мне было нужно лишь так, для подтверждения.

И вот вошла я. На лавке лежит что-то, я вижу, землянисто-серое и плоское, длинные ноги, покрытые большим мешком, — Ефим. Около него что-то хлопочет Михайло Кренев. Ефим до пояса голый. Михайло напряженно гнет его сморщенные руки, гнет и давит ими на грудную клетку Ефима: он складывает руки на груди, как положено усопшему. Потом отпускает их, разгибается, запрокидывает гладко причесанную голову и степенно крестится в передний угол. А сморщенные руки Ефима сами собой медленно расходятся в стороны.

— Обмыть бы усопшего, — проговорила ли я или только подумала. И тут же грохнулась замертво.

Очнувшись, я долго не могла сообразить, почему так много народу у нас, — во время обморока меня вынесли в сенцы. Через несколько минут обморок повторился, на этот раз, как сказала Маня, я лежала без памяти больше получаса. Потом я начала ужасно стыть, меня так знобило, что все шубы, которыми меня завалили, все подушки, горой сложенные на меня, ничуть, ни на капельку мне не помогли.

К вечеру пришла наша попадьа и велела обкладывать меня простынями и полотенцами, намоченными в кипятке, а к подошвам ног положить четвертную бутылку с горячей водой.

Больше всех возилась со мной Маня Казимирова. Она вспотела, но лицо ее было бледно от усталости, взгляд стал устойчив: так подолгу и так пристально всматривалась она в одну какую-нибудь точку, словно чего-то вдруг вспоминала.

Ой, как же она хороша, как ослепительна была и как я ее ревновала, когда она так задумывалась о чем-то! Как мне хотелось проникнуть в эти ее мысли! Я почему-то уверила

себя, что она, никто другой, должна, обязана ухаживать за мной, возиться со мной, исполнять все мои бредни. Тут я припоминаю одну хитрость, которую я применяла, несмотря на то что сама-то я еле-еле стала согреться от озноба. Я помню: чтоб не дать ей отвлечься мыслями от меня, я, как только она устремляла свой пристальный взгляд в одну точку, начинала нарочно сильнее дрожать, стучать зубами и стонать. В сумерки я окончательно согрелась и заснула. А проснулась ночью, но виду не показала, что не сплю. Мани не было, и уж очень обидно мне показалось, что покинула она меня сонную, не дождалась. Да и потом несколько дней я по-сиротски, по-нищенски упрашивала ее приходить ко мне, присмотреть за мной. «Одна я, одна-одинешенька, Манюшка», — жалобилась, канючила я. Да и в постели я залежалась лишних несколько деньков, все ради ее же.

В избе около Ефима сидели двое чужих мужиков. Припоминая все, я сообразила, что это понятия, что тело Ефима состоит под следствием и его будут взрывать.

Тут же я отчетливо вдруг сообразила, что никто не проник в мою тайну и никто никогда не проникнет, если я этого не захочу. Мне представился Михайло. Как же это он мог, как он осмелился прикоснуться к Ефиму, да не только прикоснуться, но с такой злой решительностью ломать мертвые руки Ефима и давить ими на грудную клетку?! Ой, характер! Ой, душа! Когда я вошла в избу, так не что иное, как это его холодное бесстрашие, поразило меня до припадка. А теперь оно, это его бесстрашие, меня обозлило, отрезвило, опаматовало.

Да, пожалуй, в эти минуты, когда я, проснувшись, думала о его бесстрашии, в эти минуты и совершился снова мой поворот к моей прежней злобе, к моей гордыне. Так оно и оказалось: прости-прощай, мое долготерпение, моя смиренность!

Открылось мне тогда же, что каждый человек, если он захочет, может представить собой отдельный мир и что в отношениях с другими, с окружающими его людьми он открывает только то, что ему лично выгодно, что весь мир, вся жизнь вытекает из хитрости личного ко всему житейскому. Я тогда твердо уверилась, что по отношению к другим каждый человек лжет и фальшивит до конца своей жизни.

Надумала я притвориться больной да пролежать в постели, и похороны Ефимовы и поминки-панихиды, чтоб всю эту постыдную канитель свалить на других. Да многое я тогда, лежа с закрытыми глазами, надумала и решила...

Я уже сказала, что откроюсь до конца в моей хронике да подробности все опишу, объявляю всем и об этом моем злодействе.

Но сначала я расскажу одно событие с Петрушей, которое окончательно связало меня и с Маней Казимировой, и с Васей Резцовым, да и не распутало, а еще больше спутало с Михайлой.

Не шелохнувшись; я лежала и все думала, все раскидывала в мыслях, примеряла да решала. Долго ли, много ли, — кажись, все распланировала. Повернула незаметно голову к переднему углу и приоткрыла глаза. Ни страху у меня перед покойником, ни тревоги, ровным-ровнешенько чужой.

Тут понятые чего-то заговорили шибко, я прислушалась к ним. И того и другого я узнала. Один-то из них и оказался как раз Захряпин, этот злосчастный «курятник», как его у нас прозвали за то, что он состоял у городского купца Ушакова вроде как агентом на наше село и скупал для него кур, гусей. Маленький, в крупных и частых веснушках на белобрисом, редкоусом лице, он у нас на всю округу слыл еще за «вши-вика». Правда ли, неправда ли, но про него в людской молве сочинились даже особая история, для смеху. На нем, покойном, всегда кишмя кишели птичьи вши, которых он нахватывался с кур, гусей. И вот будто едет наш Захряпин-вшивик по полю с возом ржи. А поля у нас бескрайные, безлюдные, далекие. Ой, наши поля! Ой, поля! Увижу ль я их опять? Приду ль я к ним снова такой вот, какая я теперь стала? Вши-то на нем куриные растревожились, завозились. Он огляделся кругом — ни души. Снял с себя рубаху — и ну их крушить. Тут с ним и случилось. Как на грех — болотце, а в болотцах у нас луговки-чибицы спокон веков гнездятся. Нет никого и нет никого: дави, Захряпин, на безлюдье вшей. И вдруг луговка над самой его головой — кувырк да как пискнет: «Вшии-вик!»

Вот как у нас в деревнях: не видали, а видали, огребай, Захряпин, прозвище.

Он-то и навязался в понятия. Я так и помечаю сразу, что Захряпин-вшивик не иначе как навязался в понятия, потому что, как потом я опишу подробнее о нем, он был у нас к каждой бочке гвоздь.

Уж вот ли не пример. В селе у нас стоял памятник — бюст из бронзы царю, освободителю крестьян. Вскоре после открытия, после всяких поповских водосвятий, да крестиков, да медалей, приехал к нам в село один человек со своим

отцом, по имени Николай, — строить ветряную мельницу Михайле Кренину они подрядились. Басистый такой он был, этот Николай, высокий, насмешливый, да уж очень дерзкий. С Михайлой сразу же он сцепился. Оказалось, что Николай потребовал, чтоб все условия подряда были записаны на бумагу и заверены у старосты. Все, даже кормежка. Разговор у них случился как раз при нас. Михайло ему и говорит, приговаривая протестом, тихонечко, робко:

— Может, добрый человек молодой, без бумаги лучше обойдемся?

— Нет! — гудит ему Николай. — Давай с бумажкой, а насчет разговоров ты, может, лучше послушай, откуда пошло слово «мародер».

— Интересно, расскажете? — спрашивает Михайло.

— А вот был за границей генерал, по тамошнему прозванью Марод, так он имел целую бригаду такой шушеры мародерной, которая все без бумажек норовила сделать.

— Интересно, — заметил ему Михайло, — про заграничное послушать пришлось от образованного человека. Давайте, значит, на бумажку все.

Он его, Михайлу, и подсадил с этой бумажкой. По бумажке — щи с мясом, по четверке на каждого, на второе — полфунта мяса, на третье — кашу с молоком. Получай точно: на первое — щи с легким, на второе — кусок вареного легкого полфунта (нарочно Михайло из города привез воз целый гусаков-ливера да засолил), а с кашей подавал такое остриженное молоко, что вода, кажись, жирней.

— Кушайте по бумажке, добрый человек молодой.

Отец Николая скрепя сердце остался на его харчах, а сам Николай к нам на квартиру перешел. Тут вот он и выкинул фортель-мортель с памятником (он-то, Николай этот, и увлек моего Петрушу поступить на завод).

Однажды как-то он поздно приходит домой выпивши. Сел на лавку, сидит и хохочет-заливается.

— Что ты, что с тобой?

А он знай свое — грохочет на всю избу. Только и проговорил:

— Царя, — говорит, — Александра-освободителя еще раз убили. Голову ему раздробили, аж мозги потекли, рожа вся позеленела, сморщилась. Ха-ха-ха! Го-го-го!

Кое-как ему рот заткнули мы тогда да спать уложили.

Наутро я поднялась — кутерьма. Оказалось, он так раскрасил, так разубрал царский памятник, что узнать нельзя.

На лысину ему кучу дерьма ляпнул — «мозги потекли», на лоб, на глаза, на нос наклеил полузасохшую пенку с зеленой масляной краски — «морда позеленела», да, наверное, целую ведрушу красной краски на него вылил.

Сначала-то нам всем показалось хаханьки да хихоньки, а потом, как понаехали со всех сторон псы-жеребцы в бляхах да в эполетах, как поналетело коршунье проклятое, тут и достались нам аханьки да охоньки.

Тут и проявил себя Захряпин-вшивик. Три дня бились в селом — и грозили и сулили, — нет, как воды в рот набрали.

А Николай придет со сходки, схватится за бока:

— Ха-ха-ха! Го-го-го!

— Домовой, родимец, молчи!

Так нет же:

— Эх, — говорит, — Прасковья, народ-то, народ-то как созрел! Шабаш теперь, Прасковья, всему! Конец!

На четвертый день и выискался наш Захряпин-вшивик. Да ведь не как-нибудь, не тайком, а при всей сходке выскочил:

— Так вот и так, ваши скородья. Замечаю я за чужим, пришлым человеком, по имени Николай, по фамилии пока неизвестно.

На том и покончил. Это ли, спрашиваю, не пример его, Захряпина, пособчивости? Он-то и заспорил теперь с другим понятым:

— Тут дело тайное. Тут дело темное. Тут надо досконально.

Вспомнила я, как Николая тогда скрутили, так мне его жалко стало, до слез. Не стерпела я, приподнялась на кровати да как зыкну на Захряпина:

— Вон из моей избы, пес!

Вот как его огрела, что без словечка выкатился.

Ой, дорого, ой, сурово обошлось мне это! Кабы знать-то, кабы заранее видеть все, да я бы ему в ножки поклонилась, распромерзавицу, руку бы его вшивую поцеловала, чтоб он до утра, до людей просидел да тем бы и предотвратил злую Петрушину судьбину.

Улепетнул Захряпин, и другой понятой чего-то заробел, тоже отпросился:

— Прасковьюшка, не убежит, милая, Ефим-то покойный Григорьич. Я пойду, я утрость чуть свет приду.

Ну, хоть бы этого мне задержать! Так нет же вот: «Ступай с богом и ты». Осталась я одна, решила самовар согреть,

жажда меня сожгла вконец. Слезла с постели, зажгла самовар, опять прилегла. Гуув-гуув-гуув!

Что такое, что, думаю, случилось с ним? Никогда так страшно не выл самовар. Надумала я соли в него бросить. Целую ложку всыпала. Угомонился, потрещал-потрещал и перестал гудеть, тонко-тонко заныл. Я пригасила немножко лампу, чтоб Ефим в глаза не лез, да опять прикорнула на постели.

На одну только секундочку я прикрыла глаза и успела увидеть сон, будто стою я под большой душистой яблоней; вся-то она в цвету, как в снегу; пушистая, развесистая; тихо-тихо так; и лепестки на меня сыплются, сыплются. Я их вижу, я их чувствую щекой, запах сладкий слышу. И тут же вновь глаза открыла. Полумрак. Сама ли лампа еще больше пригасла, иль ее он привернул?

Посмотрела я на Ефима, и кровь во мне застыла. Вижу, стоит над ним кто-то в чем-то длинном-длинном, склонясь к нему на грудь, и руки вижу, как они обхватили мертвого Ефима, и сам словно бы впился покойнику в лицо.

Слышу, как сердце во мне хлещет: тук, тук, тук. Вскинулась в постели, словно бы кто подбросил меня. И он вдруг разогнулся да мне:

— Мама, тише...

— Петруша, желанный?

— Мама, тише... Мама, тише...

— Соколик родной, откуда ты, ангел, Петрушонок мой?

— Мама, тише! Здесь я. В Дуровщине, у акушерки скрываюсь.

— В Дуровщине? Родной мой, желанный мой! Значит, правда, значит, верно чуяло мое сердечко, мой вепун немой? Подходил ли ты к избе нашей? Кружил ли около села тогда зимой? Ждал ли моей весточки, ненаглядный мой?

А он только одно:

— Мама, тише... Мама, тише...

И опять грохнулся отцу на грудь.

Я и сама догадалась, да и потом подтвердилось, что Захряпин-вшивик сразу же подшпионит за нами и тотчас побежит за урядником. А Петруша как повис на отце, так и не отступится. И у меня разломилась вдруг душа пополам: и позрения мучат — придут, мол, схватят, — и страх перед Петрушиным горем. Особенно потому страх, что я себя, даже при совершенной моей здоровой трезвости, считала каким-то краешком виноватой перед Ефимом.

Как же я оторву Петрушу от отца, от последнего целования?.. Еще в храме возглашено: «Последнее целование воздадим усопшему».

Стою я над ними — над живым сыном и над покойным мужем — и слушаю. Каждый шорох, каждый шелест ловлю. А тут как назло самовар шипит сзади, в чулане. Подскочила я к нему, сгребла да со всем с крышкой вытряхнула в кадку только угольки свистнули.

Покажись мне тут, что кто-то уж дверь в сенях скрипнул. Я стою с самоваром в руках и не соображу никак, сколько долго я возилась, выплескивая самовар. Мне-то кажется, что я очень, очень долго валандалась: сколько время-то прошло, покамест угли свистнули, крышка булькнула, покамест вода лилась! Особенно долго вода лилась. Может, тем временем уж вошли да в сенцах притаились?..

— Петя... сынок...

Только сам Петя, только силой своей оторвался, поднялся с коленей, быстро повернулся ко мне:

— Идем, мама. В сенцы идем. Тише, тише, мама.

И шагнул к дверям. Твердо, решительно шагнул. Я вдру перестала опасаться, что в сенцах кто-то уж притаился. Душа моя, глупости, секундочка одна, разъединное мгновение прошло, пока я возилась с самоваром. И обрадовалась, что успеет Петруша ускользнуть. Полегчало мне. И вдруг от самой уж двери как бросится Петя опять к отцу, да не достал до лавки, а на пол хлыстную грохнулся, подполз на четвереньках и опять повис. Как я его оторвала тогда, какими силами, какими муками — не помню, не передам, не опишу. В сенцах Петруша отрезвился быстро, совсем как бы неожиданно, и уж об отце ни слова больше со мной.

— Мама, тише... Слушай, мама, если к тебе кто-нибудь придет от меня... Да, мама, а дверь, вот эта на двор, не заперта? Уличную я запер сам. Если, мама, от меня придут, «полушубок» мой спросят. От меня, значит. Ты у себя тогда где-нибудь, в риге там, в конопле... Понимаешь, мама?

— Соколик, соколик мой!

— Потом слушай, мама. Постой... Тише... Нет, показалось... Постой... Тсс... Нет. Вот еще что, мама: Маню Казимирову ты... Это хорошо, что она... Я уж знаю, знаю, вот скажи ей, мама, — и вдруг дрогнул мой соколик, затрепетал весь, голос осекся. Таким маленьким, совсем чупитишным почувствовала я его у себя в руках, таким, таким вот — шта-

нишки, штанишки с прорешечкой. Поняла все, почувяла все, да и он, зная, понял, что я догадалась, совсем обмяк.

— Мама, ужели теперь она? Ужели нам, таким, все отрезано, все закрыто?

Тут вот и подоспел предатель. Я не знаю, услышал ли их Петя сразу, но я-то уловила еще шепот:

— Со двора, двором убежит. Я знаю. Я знаю где!

Говорят, что только у змеи нет совести, нет жалости, да вот у Захряпина, пожалуй. А я вот поручусь, что у этого кобеля, у урядника, что-то оказалось: совесть ли передо мной, жалость ли? Только уверена я, что он как вроде мне знак подал, загудел погромче, чем следовало:

— Нельзя! При покойниках обязана быть вежливость.

Петя — во двор. Стучат. Я открыла. Урядник прямо в избу:

— Понятой где? Понятой? Стною!

А Захряпин-вшивик сразу же на двор да как завизжит оттуда:

— Вот он! Вот он!

— Петя, Петруша!

Бросилась я во двор: «Отобью, думаю, у обоих вырву. Загрызу обоих, а вырву». И урядник тут же. А Захряпин труса дал, к сенцам жметя.

— Там он, там он. В углу, на сваю прыгнул, там, там...

И урядник оробел. Не посмел в темноту броситься за Петрушей, а только саблю вытащил, о косяк ею стучит.

— Выходи, Петр. Выходи, хуже будет.

А я — дура, дура набитая! — ну зачем, спрашивается, я сунулась? Думаю: «Где он, где!» Бегом туда, в темноту, бегом.

— Петя, — шепчу, — Петя.

А урядник из сеней кричит:

— Освети нам его, слышишь! Тебе говорят, освети!

Слышу, да только не тебя. Слышу, как Петруша в соломенной пелене дыру пробивает.

— Сейчас, — говорю, — сейчас.

А Захряпин и тут поспел. Спичек целый пучок чиркнул, чиркнул кобелю под хвост. Осветить не осветил, а только себя же с урядником ослепил. Тут я ясно слышала, как Петя шаркнул о плетень ногами уж с наружной стороны, потом спрыгнул, побежал, а вот и шаги его заглохли вовсе.

Я тогда, помню, на небо взглянула из нашего узкого, темного дворика.

Звезды... звездочки-снежинки!

Сколько их, сколько их!

...Дней пять спустя после похорон Ефима я совсем поднялась с постели и уговорила-умолила Маню Казимирову проводить меня на погост, на свежую могилу. Там я и заикнулась ей впервые относительно Петруши. Только до сих пор и говорила моя девка, только до этих моих слов и щебетала, как сатка. Лишь я намекнула — конец: как ключ в воду, умолкла.

— Желанная моя, пригожая моя, скажи мне, скажи матери!

Нет! Поникла вся, голько отодвинулась от меня да пересела на самое изголовье чьей-то чужой могилы.

Погост у нас в поле, за селом. Весь он обсажен ветлами, такими низкими, хилыми, безрадостными. Ветер тогда был сильный, хотя и теплый ветер. И вот сидит она, Маня, поодаль меня, в черную шаль глубоко закуталась, бледная вдруг сделалась, неподвижная, а над ней, над самой ее головой, ветер хлещет ветками, опущенными в желтые барашки. Так и стегает, так и свистит, словно оборвать их хочет. И взгляд у Мани установился такой странный, что я оторваться не могу, а она меня и моего воления не замечает вовсе в своем оценивании, да и ничего не замечает, да и не может заметить. Вдруг на лице ее как будто улыбка скользнула, да так на этой улыбке и замерло опять лицо. Вот тут я впервые подметила, что улыбка вот такая, как появилась и замерла тогда на Манином лице, может выразить такую печаль, такую горечь, тоску, что, кажись, душа у любого может вспыхнуть на этом моменте, запечатлеть эту Манину горчайшую улыбку, с этими ветловыми веточками, с ветром, да так и окаменеть до конца жизни. Поднялась я потихоньку да незаметно побрела с погоста и оставила ее одну.

Иду и думаю: «Не надо оглядываться, не надо, никогда не надо искушать то, в чем уверилась сразу и твердо».

Легко у меня на душе стало, радостно, прозрачно, словно бы душой моей ветер, как веточками ветловыми, играет.

Мне литератор один говорит: «Это, Прасковья, проклятые условия прошлого так изорвали тебя». Не знаю, но меня-то в те дни в каждом кусту, в каждом уголке, в каждой складке платья подстерегало несчастье. И на этот раз подкараулило оно меня. Иду я по селу домой, глаза в землю опустила да о Петруше да о Мане о Казимировой думаю. Такие у меня сладкие грезы о них; так бы вот, думаю, растворилась бы между ними в какое-нибудь невидимое существо, чтоб глазам

их не мешать, да прислуживала бы им незаметно, да все бы капризы да все бы прихоти их исполняла. Иду и думаю и тешу себя этой мечтой.

Вдруг сзади голос Петруши:

— Мама!

Вскинулась я, смотрю: двое чьих-то мужиков с охотничьими ружьями да верховой стражник ведут их, моего Петрушу да Любовь Николаевну, акушерку из Дуровщины. Любовь Николаевна давно нас знала, я-то только не догадывалась, что она с нами из-за Пети знакомство свела, — маленькая она была, белолицая, краснощекая. Как засмеется она мне, да звонко так, задорно, сразу поняла я, что она боялась меня испугать неожиданностью с Петей.

— Тетя Паня, не пугайся! — кричит она. — Чепуха все, ерунда, чепуха, чушь! К вечеру мы к тебе ужинать вернемся.

Тут стражник заорал на нее, лошадь нагайкой принялся стегать да козлом вокруг них запыгал. Я было бросилась к Петруше, да уж очень ловко стражник меня оттеснил лошадей, иль уж лошадей они так приучают: куда ни сунься, все он тебе лошадиный зад успеет подставить, и лошадь хотя и не лягается, а все время задними ногами отплясывает да хвостом обрезанным свистит.

Зато мужики, понятия с ружьями, очень мирные попались — иль уж случайно они обрадовались, иль поняли, что не кого-нибудь, а мать встретили, — только отошли чуть в сторону, ружья свои они под мышки прихватили да, поглядывая на нас, принялись закуривать. Да и стражник было унялся, а потом даже как будто немного сконфузился.

— Тетка, служба! Не лезь, христом-богом тебя прошу — не лезь.

А тут народ как на пожар хлынул, — нечистая сила. Стражник-то и взъярился опять. Револьвер выхватил да как бахнет вверх! Как дождь, все рассыпались. Мужики-понятия курить бросили, по местам встали. Стражник меня отшибает конем.

— Тетка, — кричит он, — а ты знаешь, что мне приказано? Слышь, тебе говорят. Враз прикончу их на месте!

Так меня и вдарило. Сразу присмирела я, и Петя просит:

— Не надо, мама, мама.

— Не буду, Петя, не подойду, не буду. Я за вами пойду, вдалеке пойду, Петя, Петруша!

— Молчать, арестованные! По сторонам не глядеть.

Умолк Петя, и двинулись они. И я за ними в отдалении. И мне без конвоя — конвой, без кандалов — кандалы.

Мне уж очень советовали литераторы описать в моей хронике этот мой пятнадцативерстный путь до города, до тюрьмы. Потому, дескать, что опять можно олицетворение такое вывести, мол, вся доля русской крестьянки в этой хронике выразится.

Вот и пусть они опишут эту долю русской крестьянки, а мне нечего эти пятнадцать верст в моей жизни описывать. У меня каждый кустик этого большака на примете, каждый камешек, о который я споткнулась, сосчитан да на сердце отложен навеки. Потом стражник уж очень почему-то раздражал меня, от мыслей моих отрывал то и дело.

— Ы-ы-х ты, тетка! Под какую беду ты меня подвела! Да меня за казенную патронину по службе могут понизить.

Что мне было горше: путь этот иль возвращение, тот окающий миг, когда я плелась по селу, на рассвете, да вдруг заметила в укромном уголочке Васю Резцова, Петина дружка, а с ним Маню Казимирову, которую он обнял и прикрыл ее полой своей шинели?

Как же так? Отчего же ее печаль была, горечь ее, ее тоска неизбывная, когда я на погосте о Пете с ней заговорила? Да можно ли так обмануть, как обманула она? Да найти ли, да придумать ли еще такую обиду?!

Говорят, что злоба при жизни своей ослепла, а тоска и родилась слепой. А в те дни обе они на меня надели да притиснули так, что и сама я ослепла в отчаянии.

Я хорошо теперь отдаю себе отчет и хорошо помню, что именно в эти дни окончательно завершилось во мне все направление, наконец я решилась очертя голову броситься и бросилась в этот водоворот, через который и определили меня к расстрелу.

Но только первое-то самое время, когда я была ослеплена вчистую моим отчаянием, я то и дело что изо дня в день ходила в город, к тюрьме да и просиживала там на малолюдной площади, как волчиха около прикованного волчонка.

Сначала — бесцельно, а потом мне сказали, что в тюрьме этой сидит за корову наш сельский немой Иван Новиков и будто наши кое-кто видятся с ним, обмениваются знаками. Содержится будто он в четвертом окне к соборной церкви, во втором этаже.

У этого-то, четвертого, к собору, окна я и просиживала до поздней ночушки, а затем домой плелась. Сначала меня

городовой прогонял, но я схитрила и разжалобила его, один раз пожилой офицер какой-то за меня вступился. Замечу, что офицера я этого примечала уже несколько раз: он на меня все посматривал, и, как потом оказалось, что ему было поручено относительно меня.

Выследила-таки я немтыря нашего, о Петруше ему знак сделала, спросила. Оказалось, он не знает ничего, но обещал узнать там, разведать. В другой раз высмотрел меня опять немтырь наш и показывает мне что-то — не понять. О Петруше опять ни весточки, ни намека, а показывает что-то про мельницу, про высокого человека, о каких-то начальниках, которые будто схватили кого-то, скрутили.

Уж не Петю ли, думаю, скрутили да прикончили, может, не мельница, а виселица?

«Моего?» — делаю я ему знак.

— Моего? — шепчу я, показывая себе на сердце.

Нет! Не то! Так и не поняла.

Как на грех эти знаки мои, этот «разговор» мой с немтырем снова растревожили городского, чуть в участок не поволок меня. Вот тут опять и вмешался тот офицер. Отпугнул он городского от меня да говорит мне:

— Пойдем-ка, милая, я, может быть, охлопочу кое-что перед начальством.

Замечу кстати — недавно я узнала, что офицер этот теперь очень известное всем лицо, и уж быть или не быть, а я непременно увижусь с ним и в подробности откроюсь ему во всем теперешнем моем душевном состоянии. Очень мне теперь этого хочется.

Отошли мы с ним. Он, не останавливаясь, говорит мне потихоньку:

— Вот что, Прасковья Федоровна, скажи — лошадь, хорошую, быстрюю, можешь достать?

Мне сразу на Михайлы Кренева рысака мысль блеснула. «С душой, — думаю, — его иудиной вырву рысака».

— Могу, — говорю.

Назначил он мне через два дня, как сейчас помню, во вторник на Фоминой неделе, в семь часов вечера стоять на Малиновой улице, около дома номер 13, с вывеской сапожника Некрасова. Ни раньше не приезжать, ни опоздать.

Рассказал мне все, объявил мне все, а я слушаю да каждое словечко, каждый знак его ловлю, молюсь на него, — Петю, думаю, Петрушу моего вырву опять.

Тут вдруг насторожился мой офицер да и я-то заметила,

что очень уж круто свернул с противоположной стороны какой-то барин в шляпе, с тросточкой, и за нами пошел. Офицер мой остановился вдруг (в шляпе-то этот тоже уткнулся в витрину аптеки) да ни с того ни с сего громко, во весь голос:

— Так что, милая, сынок твой второго «География» у меня получил, на отменном он у меня в батальоне счету. Герой, прямо скажу, герой!

Тот, в шляпе-то, прочь зашагал и не дослушал всего.

В понедельник с вечера решила я сказать Михайле Крестову, чтоб он мне рысака назавтра запряг. Только вдруг струсила я: взялась вот, вызвалась вот Петю вывезти, а на чем, а как? Уж лучше бы мне тогда же и упросить офицера о лошади. Ужели не нашлось бы у них там, у Петиних друзей-товарищей, подходящей лошади?

А вдруг откажет Михайло? И вдруг уряднику донесет, что, мол, рысака зачем-то Прасковья требует запрячь? И меня проследят, подкараулят да и всех решительно через меня накроют? Покошу-то, стыда-то какого я могу нажать на свою голову да на сыновью судьбину!

Михайлу в те дни я почти не встречала. Так уж он все нарочно подстраивал, крутил, чтоб одну меня оставить да со стороны на меня полюбопытствовать. А отчасти и дела его отвлекли, свои хозяйственные: в те дни он деньгу лопатой загребал к себе с казны. Он как раз тогда нанял к себе в работники всех наших сельских сапожников, хоть сам он и не был сапожником, и подрядился на интендантство сапоги на солдатиков поставлять.

В этот день, в понедельник, я до самого вечера крутилась около него, да заговорить о рысаке никак духу не набралась. Он же, видать, понял, что у меня дело к нему неотложное приспичило. Затемно ушла я домой, решила подождать, когда мастера ему работу сдадут, разойдутся, тогда, дескать, и попрошу.

Сидела я тогда у окна да следила за его воротами: мол, не уехал бы куда, — он в те дни то и дело в город за товарами для мастеров оборачивал. Сижу, поджидаю, обдумываю, как бы мне к нему подластиться, чтоб поаккуратней все вышло насчет рысака.

И вдруг сложилось у меня в голове, что главный пункт в моей жизни наступил. Все, думаю, все подвелось к одному,

все в один жгут скрутилось — и Петю из когтей вырвать, и Маню, царицу мою животворящую, взять, укрыться с ними в глушь, в самую распротайгу, а там и подсмотреть исподвольки, как удобнее, как ловчее прихватить жизнь за жабры, чтоб уж не сорвалась как вот до сих пор. Да выразишь ли, что мне тогда захотелось! Вот захотелось, чтоб все по-моему, на мою, на Петину руку все образовалось. Вот и поперла у меня тогда мысль в самую дурацкую, во вредную сторону. А пуще того, припомнился мне тогда один недавнишний страшный случай, который мне всю человеческую жизнь как на картине обозначил и всю ее хитрость открыл.

В самую гололедицу, еще в апреле, когда я только-только в батрачки угораздила, хозяин мой Михайло подрядился пригнать табун мобилизованных лошадей, почитай за триста верст, в город Тамбов из нашего города. Лошадей собралось до четырехсот. Железная дорога была вчистую забита: тут и пушки, снаряды, тут и раненые, тут калеки, тут полковники, генералы со своими бабами гулящими, и беженцы, и беженки. Да мыслимо ли лошадям дожидаться своей отправки, своего череду? Собрали, свели, поотнимали у мужиков, а у самих ни сена, ни укрытья теплого, ни ухода.

Запаршивели лошади, дохнуть начали, падать начали, — властям лишь бы избавиться от них, от себя спровадить.

Когда Михайло вызвался табун прогнать в Тамбов да получил такую бумагу от властей, по которой он не обязан отвечать, если дорогой лошади упадут, и когда он меня, да брата своего Федьку, да еще четверых нарядил на этот путь, — вот тогда я и насмотрелась страстей. Вот с той поры и запала мне, а теперь и открылась некоторая хитрость в жизни.

Видал ли кто-нибудь из вас такой огромный табун совсем голодных лошадей? Таких голодных, что вороны целой тучей собрались к ним да так день и ночь караулили?

Помню, рано-рано утром мы выгоняли за город наш табун. Вороны рев подняли, вороны крик подняли, да уж не летят, а только пересаживаются с одной лошадины на другую, на самую холку, словно бы вынюхивают, которая скорее упадет. Кажись, вот-вот живых начнут долбить.

А лошади, а страдальцы мои, вытянулись лентами за нашими верховыми да так и идут, опустив головы низехонько, покорно да глухо постукивают копытами по гололедице, идут, качаются, на ворон уж никакого внимания.

И вот что я тогда заметила: в город Тамбов мы и ста лошадей не привели, а в поле, по дороге у нас ни одна лошадь

не упала. А уж как в село табун войдет, тут, которая изнемогла вконец, подойдет к забору или к воротам, боком привалится, сейчас же и рухнет — и конец. И ворона тут же в гдаз ей клюв свой поганый запустит.

А остальные дальше — ни упавших не заметят, ни в сторону не бросятся, не оглянутся, не заржут.

Откуда такая покорность? На чем она держится, на чем крепится? Ученые свои мысли да разные рассуждения из книг вычитывают, а мы, вот такие, как я, вот из этих картин и собираем, плетем свой разум, свою душу.

В тот вечер, подстерегая Михайлу, я и открыла себе вдруг сравнение, что все люди, все-то мы как раз похожи на этих лошадей: идем-бредем покорно, смирно, ни вбок, ни назад, ни в сторону: как тронулись, так и течем. А у нас уж и ноги дрожат, а на нас, живых, уж и ворона примостилась да своим железным клювом выстукивает нам голову, заранее кусочек лакомый облюбовывает.

А там уж и село, а там уж и забор чужой...

Так к чему же, думаю, все это? Так уж лучше конец сразу, если не в сторону, если не на волю? А уж раз главный пункт моей жизни наступил, так когда же, как не теперь, рвануться в сторону из этого проклятого табуна?! Чего же мне теперь, чего же мне жалеть-то осталось? К чему же я тут, в этом табуне, привязана, когда я в себе самой еще как раз самую силу, самую жизнь чувствую? Ну что, что мне мешает? Вот Михайлу сейчас подкараулю. Кто мне запретит заманить его, затуманить его да на все пойти, лишь бы цели своей достигнуть?..

В этот час и сверкнула у меня мысль померяться, потягаться с Манечкой Казимировой. Не знаю, что у меня было главным: первенец мой ненаглядный, зависть ли моя тяжкая на нее, на глаза ее чудотворные, ревность ли какая-то непонятная, необъяснимая, или уж злоба на то, что всю молодость свою первую я плелась, подобно захудалой кобыленке в этом проклятом, покорном табуне, вместе с Ефимом?

А тогда... Выхожу себя, откормлю себя, выхолю. Вот она, вот она, вот она, моя молодость! Назад идет, снова ко мне идет. Уж я ли глазом не поведу? Уж я ли бедром не толкну: «В сорок два года баба — ягода?» А мне еще только тридцать восьмой шел. Не мне ли открыты все тайны, не у меня ли в руках и ключик, и замочек, и золотой платочек?

Что же, Маня, потянемся, Маня. Померяемся, Маня! Хороши твои глаза, ой хороши! Да не смотреться в них ночью,

да не разглядеть их под Васиной шинелью, да и мои не погасли! Зачаруешь ты, обворожишь, да вот не прожечь тебе так, не спалить тебе!

Ой, Манька! Ой, лихоманка! Зацеплю я тебя. Поведу я тебя. И приведу, как овечку приведу, как ярочку пушистую сохранию для Петруши.

Уж я сказала, что Михайло сам почувствовал, что недаром я весь день около него вертелась. Сам пришел. Пришел, сел на скамейку к столу, потом достал из кармана толстую, блестящую подошву, неширокую, но довольно длинную, пощелкал, засмеялся, иуда.

— Вот, Прасковья, какой товарец получаем. Такой, — говорит, — солдатикам не ставим. Тяжелы больно сапоги получатся из такого. Пожаливаем солдатиков, молодежь да старики теперь остались. Не донести им такой тяжелый товар, Паня. Полувалец — еще куда ни шло.

— Прасковья! Пес ты бесстыжий, а не Паня, — поправила я его. Посмотрела секундочку ему в глаза, пристально посмотрела, поднялась, пригасила лампу, заперла дверь на крюк, на кровать легла да потянулась так, что косточки щелкнули.

Он и затих сразу. И я молчу, не шевельнусь. От меня ли ты теперь спрячешь, иудина душа, твое желание? Я ль не слышу, как ты дышишь — зачистил? Подойдешь. Подползешь, рыбкой приплывешь.

И подошел, подполз, рыбкой преклонился. Сел рядом на кровать, я чуть-чуть отодвинулась, местечко на самом краешке уступила. Сидел-сидел мой Михайло, сколько сидел — не учесть, а я чуть-чуть покусываю нижнюю губу да глаза на него скосила: не шелохнусь, ни словечка.

Вдруг он подносит к самому моему лицу кусок толстой подошвы и шепчет:

— Хочешь, по морде тебя сейчас?

А я ему — ни словечка, не шелохнусь, только губу стала чаше еще покусывать, и он это заметил. Опять подошву за угол трясет перед самым носом.

— Хочешь? Говори!

Верных сотню раз повторил он мне, грозя подошвой, пока я не заговорила с ним:

— Ты, — спрашиваю, — пес бесстыжий, рысак мне завтра запрягешь?

— Запрягу.

— Сам запрягешь?

- Сам запрягу.
- Крепко? Не распряжется дорогой?
- Сто верст кати.
- Ну, иди, корми рысака.
- Паня?
- Иди, пес бесстыжий. Не мальчик! Понимай, когда можно, когда нет.

Пулей выскочил он тогда от меня и подошву свою оставил. А утром, еще затемно, слышу, на рысаке подъехал. Я вышла, села, он еще раз прощупал ремни, потом отошел в сторонку да только и вымолвил:

- Не загони смотри.
- А ну как загоню? — шепнула я ему с тележки.

Тут он вдруг как взмахнет обеими сразу руками да как крикнет:

- Туда ему и конец! — и прочь от меня побежал.

Как это быстро, в одну секундочку, все это сделалось! Только я подъехала к дому номер тринадцать да задержала рысака и хотела слезть упряжь еще раз осмотреть, вдруг чувствую, сзади меня прыг кто-то в тележку. Я и не очень испугалась. Только слышу: «Гони!»

Как мы летели, где что встречали — ничего не помню. Как во сне. Я и не заметила, как мы промчали слободу. Кажись, сразу же мы и очутились за городом, в поле. Вот и лес. До сих пор не пойму, почему и как мы очутились не на нашей дороге, не на большаке, — на чужой, на нагорновском проселке, где-то мы свернули. Уже не чудо ли тут, не предчувствие ли, или, может быть, оттого мы проскакали не по нашей дороге и, так думаю, свернули, что у меня еще заранее была такая мысль, что рысака Кренева, может быть, уже заметили раньше в городе да и о большаке я что-то думала? Как произошло — не знаю, но после установилось, что за нами была погоня по большаку и стражникам сразу же на большак указали.

Только в лесу вдруг опомнилась я: ведь не Петю я везу, не его, ведь не его голос-то — «Гони!» Как же это? Как же? А Петруша, а сынок? Вдруг как заржет мой седок, как захочет. Сразу я узнала его, ржанье-то его лошадиное я навсегда запомнила с того дня, когда он разукрасил так наш памятник царю-освободителю.

- Николай! Ты ли?

— Прасковья! Ха-ха-ха! Я теперь князь. Ты ведь князя везешь. Князь Дульский, го-го-го! Каким почетом меня тут

обхаживали! Сапожки даже пустили заказать со стражником. Ха-ха-ха!

«А как же, — думаю, — Петя-то? Где же он-то, с ним-то что?»

У Николая спросить, да где же тут: он вконец обалдел.

— Чей это рысачок, Прасковья? Уж не Михайлы ли Кренева? Ах, живоглот природы! Хлестнем его, ирода. Ха-ха-ха!

В верстах восьми от города велел мне Николай остановиться. Спрыгнул он с тележки и говорит мне:

— Ну, Прасковья... — замялся вдруг. — Ну, вот что: давай я тебя поцелую, вот что. Я теперь вот, напрямиком... Да! А Петруха твой как?

Вот тебе так!

Распрощался со мной сокол ясный Николай Парфенович, обещал разузнать все и весточку подать, скрылся, и след его простыл. И осталась я в лесу, в темном, в дремучем, одна-одинешенька. И зоря-зорька алая на небе гаснет.

— Петя! Ау, сынок! Ау, красное солнышко!

Я ночью к селу подъезжала — облака откуда-то надвинулись, сыростью потянуло, все смутное, кое-где огоньки тусклые, придавленные, да и село-то все придавлено, да и жизнь-то вся приглушена. А еще ощутимей сделалась мне на сердце вся эта придавленность, что жизнь-то моя расползлась надвое: жила-была в селе сельская баба Прасковья Горянова, а тут вдруг другая, городская, жизнь ей боком показалась. Да еще самым острым своим углом: ни в селе — родни, ни в городе — привета. Ни в кусту, ни в болоте.

Ну что, ну что родного вот в этом темном хайле, в этих тусклых огоньках? А в городе что? А там что? Утроба, утроба, в которой задыхается мой Петя.

Вышло, что сельскую бабу с корня смыло, куда-то вкривь, вкось, вверх потянуло. Ну, куда, куда тянет? Куда гнет? К чему воротит? Литераторы мои, ясные мои головушки, колхозные старатели, вот бы вы тогда мне объяснили, растолковали, на какой козырь упадет-упадет вся моя жизнь. Тогдашние минутки мои, часики мои, деньки-ноченьки дались мне горшей самой горькой тюрьмы-каторги.

Уж не оттого ли и кидало меня так: от гордыни к смирению, от слез к злобе, от тоски к буйству, а под конец швырнуло на самое отчаянное бандитство?!

В село я въехала. Вдруг заныло у меня сердце. Такая впилась, такая тревога забила, что влору в голос плачь. И все мои мысли, все мое беспокойство щемящее на Мане

Казимировой сосредоточилось. Отчего? Почему? Иль, знать, запредчувствовала я, что к окончательной гибели иду? Так ведь я тогда отчетливо предвидела, что я заблудилась, что меня леший водит, кружит, аукается со мной. Но я-то тогда думала-полагала, что один есть узел у меня: Петрушу вырвать да Маню для него отвоевать. До того я тогда темна была, что никак не чаяла, что этот мой узел крепко-накрепко сплетен со всем и вся в жизни, что мой узел не что иное есть, как узелок в большой-пребольшой рыбацкой сети — отовсюду ниточки, прицепочки, узелочки-узелки. Уж вот теперь-то лишь я твердое себе убеждение нажила, что, порвись один узелочек, и другой распустится, и третий, и коли вся сеть развяжется, так одним узлом, сколь он ни крепок, все одно шуку не словишь. Так я и про всю жизнь, про все государство думаю: чем больше мы, Праксовьи Горяновы, свихнемся, тем больше и в государстве свиху.

Слезла я с тележки, привязала вожжи да и пустила рыбака — найдет дом, не маленький. А сама зашагала прямо-хонько на Миллионный порядок, к Мане Казимировой.

И вот иду я все быстрее, все быстрее, а мысли мои, а чувства мои перепутались, перемешались, столкнулись в кашу — только чувствую в себе уверенность нерушимую, что сейчас все произойдет, все объяснится и все-то решительно поймет она у меня, всему уступит, покорится, а пожалуй, расплачется, и поведу я ее, ярочку пушистую со слезками на глазах, к себе в дом ждать-ожидать весточки от Петруши.

И слов у меня никаких наготове не было, и поступить как — не знала, вот только, думаю, на коленки перед ней, нет — рыбкой, в ножки поклонюсь: пойми ты, почувствуй, Маня, всю горечь мою, все мое сокрушение.

Все быстрее, все скорей, вот и Миллионный порядок. А только где же изба-то Казимирова? Где она живет, Маня? Как же ее отыскать-то? Тут и быстрота моя с меня соскочила. Вдруг оробела. Хожу-брожу в темноте, оглядываюсь, прислушиваюсь и вдруг подумала: а что, да как мою эту украдчивость за воровское что-нибудь примет кто, или вдруг пожар вспыхнет тотчас, назло мне вспыхнет, осветит меня: как ты тут очутилась, к чему подкралась, чего искала? А ведь разве понять, разве поверить, что очутилась-то я тут, искала-то я, кралась-то я для того лишь, чтоб рыбкой перед Маней упасть?!

Слышу вдруг, где-то тихо-тихо поет кто-то, голос коготь и нежный, но сиплый, глухой:

Разведу чудный сад над рекою,
В том саду будет петь соловей,
Под душистою веткой сирени
Целовать тебя буду смелей...

Никогда я не слышала, как она поет, но сразу догадалась, что поет она, именно она, никто другой. И песня ее — такую именно песню она и может и должна петь. И слова такие, и голос такой. Она! Она! Да и знаю, кому поет. Знаю, у кого под крылышком трепещет, дрожит.

Захлестнуло меня опять, шепнул мне из темноты леший, а я словно милому откликнулась: о сирени поешь, о душистой веточке тянешь, о соловушке. Да утетишь ли его садиком-то? Да удержишь ли его под душистой веточкой, уведешь ли ты его на сиреньке-то? То ли ему нужно, о том ли он думает, прижимая тебя под крылышко?

Ну, Манька, держись ты теперь! Крепись ты теперь!

Тянем-потянем.

Дома Михайло Кренев ждет. В темноте сидит.

— Что тебе надо?

— Да ведь... вот...

— Что тебе надо, говорю?

— Что с тобой, Паня?

— Пошел, ирод! Какая такая — Паня? Прочь пошел.

Вон отсюда, нечистая сила!

Уж заранее я все рассчитала и расставила, как это я начну и с чего первым долгом пойду. Да и стала высматривать случая, чтоб поймать его сразу на крючок. Любая, по-моему, женщина знает, что если сама она не даст кому-нибудь такого намека — глазами, знаком ли, движением, голосом ли, — то никто никогда на соломинку к ней ближе не подойдет. А уж коль заворковала, коль глазки зазолотятся, коль улыбнется, так уж после и стеной не отгородишь.

Вот так и я Васю Резцова подстерегла недели две спустя после того, как я украдкой послушала, понаслаждалась голосом его залетки.

Увидела я в сумерки как-то, что он бережком идет в шинельке — повязку он тогда уж снял свою, — к ней, видать, поспешает; словно на крыльях к нему навстречу, будто невзначай на него наскочила.

— Тпру, стой, задавишь, Васенька!

— Куда ты спешишь, Прасковья?

- Не скажу, Васенька. Секрет, родненький.
- Ой ли секрет?
- Ой ли да!
- Нет, правда: куда?
- Нет, правда: секрет.
- Да ну же?
- Да тпру же! Купаться бегу.
- А как утонешь?
- Тебя крикну. Прискачешь?
- Вмиг.
- Вытащишь? А как в шинели да в рубашке сам намокнешь да утонешь?
- Ой? Скину все!
- Иди, иди, разбойник, не приставай к вдове.
- Утопишься, боюсь.
- Сказала — крикну.

Вот и соломинка сломилась, вот и ключик сверкнул, и платочек золотой блеснул...

Взялась я описать это свое злодейство подробно, посылалась, да вот... Да уж надо ли? Да стоит ли? Что же ведь это получится? Ведь одной мне теперь часто приходится в камере сидеть, да еще кто и знает, где придется побывать, и утвердят ли мне помилование, а я вдруг опишу все, все разрозненное, все отрывчатое, как мне запомнилось, воедино соберу теперь да нарисую такую картину, и ну-ка одна, эта картина, так передо мной до конца моей жизни останется и сниться мне будет по ночам?

Как же лучше-то? Собрать ли все воедино теперь, нарисовать ли эту страшную картину да уж и сдать ее, отделаться от нее, или уж не тревожить? Иль уж так, в смутности, в разрозненности, как у меня запомнилось там, на душе оставить? Как же лучше-то? Описать ли? Стоит ли? Не хуже ли это для меня будет, если заборонить тяжелой железной бороной эту засохшую уже на душе моей корку?

Я еще давно-давно слышала: если утопленного вскрывают, чтоб узнать, живой он родился или мертвенький, так будто доктор, который вскрывает, вынимает сердечко и опускает его в чашку с холодной родниковой водой. Если звездочки крупные всплывут на воде — живой.

Так вот эта родниковая вода, «звездочки» вот эти, мне. Да чего там! «Назвался грибом — ползай в кузов». Все так все!

Как раз в этот день к моей избе вдруг подкатила лихая

барская тройка. Кучер в черном кафтане, в пуговицах, бляхах, в медалях, в черной шляпе с крутыми полями, как завитушки у селезня. Коляска — черная, лошади черные. Седок — молодой, в каких-то коротеньких золотых эполетах, со шпагой и тоже во всем черном. Уж после, много спустя, мне открыли, почему этот седок нарочно все черное подобрал.

Я до последнего часу была на ногах и так себя маскировала и прятала, что голову на отсек дам, что никто не подозревал за мной ничего. (Разве вот только... ну, да об этом я подробнее все опишу потом). Вышла я на улицу, мне седок-то черный кричит:

— Здесь живет социалист-революционер Петр Ефимович Горянов?

У меня язык к небу присох. А седок:

— Вы его мать? Не бойтесь. Я его друг, социал-революционер, анархист, Шульц-младший.

Я к нему бегом. Думаю, о Пете услышу весточку, весточку радостную, коли так открыто его товарищи на тройках по селам стали разъезжать. Не успела однако я и рта открыть, чтоб о Петруше спросить, как народ хлынул к тройке этой: и мужики, и бабы, и ребятишки. Загудели, забалабонили:

— Мир, говорят, мир. Войне конец!

А этот мой «социал-анархист» как вдруг вскочит на сиденье да во все горло зыкнет:

— Стой, товарищи-братья, тише, тише! Речь мою слушайте. Всем. Всем. Всем. Бьет час. Рухнет трон. Сгинут короны. Умрут плутократы. И мир, новый мир засияет во тьме. Братья-крестьяне, Амио сказал:

В оковы втиснутый свободный человек
Начальной доблести теряет половину.

Брат, товарищ, крестьянин! Ты свободный человек. Помни, помни! Самодержец-тиран вверг тебя в оковы, и ты, доблестный класс, давший России великих бойцов-террористов, давший Халтуриных, Каракозовых, Каляевых, родивший России великих поэтов, великих художников, ты, класс, оплодотворивший Русь и кормящий ее тунеядцев своим потом, своей кровью, ты, могучий косматый великан, — ныне в оковах тирана. Тяжелые, ржавые кандалы гремят на твоих руках и ногах, дубовая колодка на твоей многотрадальческой шее. Проснись, великан! Бейте в набат, не-

сите огонь, жгите усадьбы, громите дворцы. Давите своих тиранов — в одиночку, на большаках, на проезжих дорогах. Морите их голодом, крушите поезда, везущие им ваш хлеб, рвите провода их телеграфов, которыми они скрестили вас. Пишите своим сыновьям на фронт и укажите их штыкам ваших тиранов.

Набат!.. Огонь!.. Топор!.. Штык!..

Проснись, мужик-великан!

Тут мой оратор крикнул что-то кучеру и вихрем умчался. Замечу, что речь его я вовсе не от себя, с пято на десято передаю, а записываю ее подлинно, так как мне потом и его прокламация с этой речью попала, и об этом я при удобном случае расскажу. Теперь же сообщу: как потом выяснилось, этот Шульц-младший сам был из сумасшедших каких-то — не то дворян, не то князей, и на черной тройке своей он летал из села в село по нашему уезду и так ошеломил всю кругом власть, что, когда подняли тревогу и пока уславливались, как и где его накрыть, он вдруг как сквозь землю провалился: ни его, ни кучера, ни тройки.

Приезд его, будорага, поднятая им, вся неожиданность, весь мой испуг на верную неделю ускорили «мое время».

Уже часа через два после его отъезда почуяла я — сегодня...

Вот тут и вдарило меня: как мне, как до ночи дотянуть?

Нет, нет! Отрекаюсь. Отказываюсь. Ни словечка больше. Может ли подняться рука, сумеет ли посягнуть мысль всю вот эту, вот этот?... Ну, скажем, иду я по берегу ночью. Из стороны в сторону меня качает. И вот дохожу до того места, где я Васеньке навстречу весной тогда выскочила. Да нет! Не могу. Ну, как же я составлю вот эти два конца? Сухожилие пересеченное легче склеить — срастить, чем мне вместишь эти все концы.

Потом утка дикая там, когда я подползла к самому берегу, как брызгнется из воды ввысь да как заорет. Мне все лицо обрызгала. Это я помню до того четко, до того ясно, что вот и сейчас я чувствую, нет — слышу, запах тины, которой она обдала мне лицо.

А все это — концы, концы. Все это связать надо, все это вместишь надо. Да ведь и вместишь — в душу мою грешную!

Только в душу, в человеческую душу и может вместишься это «невместимое». Оно, это «невместимое», любую, по-моему, сталь, любой камень-гранит развернет.

Нет, посулилась, похвалилась, а описать, подлая моя

душа, покаяться всесветно струсила, задрожала, как сука под дубиной. Или уж в другой раз, в другом месте я покаюсь и буду ждать причастия.

...Никто моего брюха не заподозрил, так укромно я маскировалась, — разве только Михайло Кренев. Я уже все лето к нему присматривалась, насквозь его глазами процедила: подзревает или нет? И до самого последнего времени была спокойна. За все лето он мне почти ни слова, и я ему — ни звука, словно и не замечал меня вовсе. Было, правда, один раз, после петровок вскоре, приносит он вдруг мне большой окорок ветчины, брякнул его на стол и буркнул:

— Подкормись. Рабочая пора, а ты снопа не подыmeshь. Такая работница — не дело.

Вот и все.

Только в молотьбу он мне неожиданно намек дал. Я таскала нацепниками солому на омете. Самая ни на есть тяжелая работа. Только уж я нарочно за нее взялась, потому что время оставалось накоротке. Волоку я нацепник, а он подошел к омету, стоит, с меня глаз не сводит, иуда. Сразу я почему-то заподозрила, чего ради он ко мне подошел? Виду однако я не подаю. Нарочно вязанку за вязанкой скорее прочих оттаскиваю. Во мне, кажись, вот-вот все лопнет и разорвется вдребезги. Пятна-то желтые, «цвет»-то на лице, что у беременных обозначается, я выводила очень даже легко при помощи синего купороса, чистого дегтя и яичного желтка. По роже, думаю, ты — пяль не пяль бельмы — все одно не разглядишь, а брюхо и подавно незаметно.

Только вдруг полез он на солому. Дождался меня, подходит, говорит, а глазами жгет, иуда-хриstopродавец:

— Ступай к барабану снопы развязывать.

— Я и тут управляюсь. Девчонку пошли туда какую, — ответила я.

— А я говорю — ступай. Нечего уж!

И я пошла. Зачем я пошла? Зачем сдалась? И уж когда ушла, лишь тогда я окончательно разжевала его это «нечего уж».

Ужели, думаю, догадывается? Неужто заподозрил? И на речку, туда, к большому коромыслову батану, когда шла я, все время думала об этом его «нечего уж». Да и вообще в последние часы у меня с ума не сходило его подозрение, а вот когда возвращалась домой, я о нем забыла вовсе.

Тем неожиданнее, тем страшнее через эту мою забывчивость и вышло, когда я вернулась домой.

Тут еще дорогой меня подозрение о свивальничке мучило. Помню, хорошо помню, что этот свивальник я зачем-то заранее решила взять с собой, «туда». К чему-то я его уж загодя приспособила? Дорогой-то мне и втемяшился этот свивальник. Затмение нашло, никак не вспомню: куда я этот свивальник дела? Употребила ли, обронила ли его «там», или, может быть, я его совсем не брала из дому?

Вернуться? Обшарить «там»?

Боюсь. Заробела. А пожалуй, и не заробела, а нашло на меня состояние такого безразличия. И состояние это на меня вроде как волнами находило: то мне вдруг делается очень тревожно, жутко, что свивальник этот я не иначе как «там» оставила, забыв его «употребить», а то безразличие наступит: все равно — там ли, дома ли? Лечь бы только скорее!

Скорее, скорее бы лечь в постель!

В избу я двором протащилась. Уходя «туда», я лампу нарочно оставила зажженной, только пригасила, а дверь незапертой: мол, войдет кто (а кому войти ко мне?), так изба скажет такой вид, что я куда-то на минутку только отлучилась. Это я очень, очень превосходно помню, что я и такую хитрую подробность приписала на всякий случай. И вот я распахнула дверь, и меня ярким-ярким светом обдало.

В избе ожидали: Михайло Кренев, староста наш Григорий Изюмов и двое понятых. На столе перед ними, рядом с листом бумаги, вижу, лежит клочок подошвы, тот самый кусок толстой подошвы, которой Михайло грозился весной меня по морде ударить, да не ударил, и так ушел не солоно хлебавши, забыв свою подошву.

Наверное, сам дьявол меня укрепил в этот миг. Я сразу же к лампе подошла и привернула ее слегка.

— Что же это, — говорю им, — вы чужой керосин так палите? Не жаль чужого-то. Что пришли? Опять Петрушу ловить?

Повела я тут случайно глазами на кровать и вдруг вижу, что свивальник мой, пестренький мой свивальник, который я собиралась употребить «там», поперек моей постели лежит, на виду, на глазах, одним кончиком к стенке, а другой свесился с одеяла, так что завязочка самого пола касается.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

В ноябре тысяча девятьсот семнадцатого года, ночью ненастной, разбудил меня грохот в уличную дверь моей избы. Видно, очень крепко спала я, что так они загрохотали. Я подскочила к окну, вижу сквозь темень, что у избы народ какой-то толпится, будто и подводы стоят — два ли, три ли воза. Выбежала в сенцы, спрашиваю:

— Кто?

Оттуда мне голос, басистый такой, раскатистый:

— Открывай, Прасковья, не задушим.

— Кто? — кричу я. Хотя я уж сразу узнала неожиданного-

негаданного гостя и переспросила-то скорее от неожиданности. Здорово поживаешь. И тут с хохотом мой гостюшка залетный:

— Ха-ха-ха... Отпирай, грабить, резать сейчас будем.

— Николай, Николаюшка... Каким ты чудом залетел ко мне?

Я и про народ забыла, так я ему обрадовалась. Думаю, может, хоть он-то порадует меня и весточку какую-нибудь от Петруши подаст мне. Я в то время совсем высохла от скуки, от тоски распроклятой.

С тех пор как рухнуло царство, я в городе, все, кажись, углы-закоулки облазала, Петрушу разыскивая, — и офицер исчез, и Шульц — черный барин — куда-то в щелку юркнул, а сапожник, от которого я Николая увезла, чуть не в шею колодкой меня вытолкал, когда я от него пыталась хоть что-нибудь разузнать о Петруше. Научили меня тогда в комитет временной власти обратиться. Я туда явилась.

— А кто он такой? — спрашивают меня.

— Мой сын, — говорю. — Он за революцию с эвон каких лет вступился.

— В партии в какой он, милая?

А я тогда не знала, в какой партии мой Петруша. Да и разницы я тогда в партиях не понимала. Тут кто-то сбоку встал, тоненький такой голосочек, юркий, — так вот и кажется, что у него крысиный хвостик есть:

— Большевичок, должно-с?

Тут и все сразу, как псы, набросились:

— Большевик, что ль? Большевик? Большевик он у тебя!

Не знаем, ищи, где хочешь.

Псы, псы и есть. А этот маленький-то сущая шавка задиристая из подворотни — гав, гав:

— Большевичок, должно-с...

Потом, когда расклеили объявления и списки, чтоб выбирать в Учредительное собрание, я и комитет большевиков разыскала. И оттуда меня не солоно хлебавши выпроводили:

— У нас такого ни по каким спискам не значит. Может быть, у него фамилия другая есть?

Радость, нечего сказать, какую радость принесла мне эта самая революция. Сердце только лучше растравила, душу только еще растревожила. Все вы, думаю, одного поля ягоды. Все заодно. Прикончили, придушили моего сокола, а теперь и вертитесь передо мной всяк по-своему:

большевик... фамилия, может быть, иная. Может быть, вы уж скажете, что и не сын он мне вовсе. Уверите меня, что не мою, а чью-то чужую душу согревал он, когда сосал мою грудь и сопел носиком. Иль, знать, с кем-нибудь другим, а не со мной случилось, что я прозевала, как у него прорезались едва-едва первые зубенки и он меня ими за левый сосок тяпнул. Так тяпнул, что мне показалось, будто он меня за самое сердце укусил.

А теперь вдруг — «фамилия другая», а теперь — «большевик, меньшевик». Сын мой, сын — вот кто! Отняли, псы, удавили, ироды... Сгноили, иуды...

Радость, счастье принесла мне эта революция, только в петлю бы, что ль, от радости такой, только в омут бы от такого счастья!

Свобода, равенство и братство... Вот уж верно, что равенство и братство — кому бедность, кому богатство. Получай всяк свою долю, по-братски наделяем тебя и голодом и нищетой. Не забываем.

Да уж на это-то я в те дни и не зарилась, с нищетой-то я свыклась, с рабством-то своим, — только бы, думаю, Петя. Петруша вернулся, а там... там и горы золотые рядом, и до солнышка рукой подать.

Вернулся бы лишь. Объявился бы только. Тогда уж, думаю, не обнести вам и нас с Петрушей нашей долей. Вернется, — из горла, думаю, он вырвет у них свою часть, за которую страдал по тюрьмам-каторгам.

Кстати, нужно тут открыться, как солоно я тогда хлебнула этой своей части-доли, за которую страдал мой Петруша да и я с ним. В июле месяце к нам в село принесли слух: «Собирайтесь все город делить», — будто уж в прочих селах везде решили всем скопом съехаться, вроде как бы на базар, да всем сразу и растащить весь город на части.

Не очень-то всему этому я поверила, но и не знала, почему же этому не поверить. Уж коли свободу, равенство объявили, так зачем же, дескать, купцы-живоглоты до сих пор на своих миллионах сидят.

Подвод двести от нас тогда поехало в город. И я пошла. Много, думаю, мне не надо. Ко многому я не привыкла, да и ни к чему мне многое, раз у меня надежды почти никакой на Петрушу не осталось. Дорогой, я помню, обдумала даже, что именно мне взять, да и обдумыванье это было не чем иным, как моей мечтой о Петруше да о Мане Казимировой.

Шла я тогда тропиной по большаку и все думала, все приглядывала, мечтала. Уж коли, думаю, и верно начнут город делить, так вот подберу я Петруше вот что да вот что, а Мане, ей, голубке сизокрылой... да ей не наряды, не шелка-атласы, а жемчуга, а камни-самоцветы, бисер алмазный.

О себе-то я и не думала, себе-то я только и мечтала, и то втайне, что мне Маня свою черную шаль подарит, когда царицею венчанной рядом с Петрушей нарядится.

Уж очень меня тянуло к ее этой шали с тех пор, как она меня ей окутала, когда они с Васей мне про Ефима сообщали.

В город действительно столько народу, мужиков понаехало, что не только площади были забиты подводами, но и вдоль улиц по обе стороны стояли вплотную подводы. И все, решительно все подводы были запряжены.

Жуткое что-то было тогда! Сумерки уж наступили, огни зажглись. Народ чего-то ждет, всяк стоит у своей подводы и друг на друга поглядывает. Ни шума базарного, ни гула. Знать, уж всяк наметил, с чего именно он-то начнет, на что первым делом бросится.

Только, видно, и «комитеты» сообразили, чего мужики ждут. Откуда что вдруг явилось! И солдаты и кавалерия, а тут еще и гимназистики-студентики с ружьями... да с песнями вдоль улиц.

Эти гимназистики-студентики и выдали себя с головой: зачем они с ружьями-то появились? Не утерпелось им. Пели-пели, а потом и затеяли с мужиками перебранку:

— Погромщики, — кричат, — грабители!

— Суньтесь попробуйте, вот это не видели!

На моих глазах произошел тогда страшный случай с этими гимназистами на Дворянской улице. Да тут, пожалуй, и началась вся давка, все кровопролитие.

Я уж давно заметила этого гимназиста. Уж очень, видно, озорной был. Он в своем ряду самым крайним шел и все цепляя, толкал всех своим ружьем. Ведь всего-то с гниду, ружье-то, почитай, вдвое больше его, сидел бы дома, ел бы всякие там дворянские пирожки-шанежки. Так нет же вот! Ружье возьму, в мужиков стрельну. Идет, ломается. То мужика прикладом толкнет, то лошадь в зубы стволом двинет.

А тут, видно, какого-то мужика он до горячего задел. Смотрю, бежит, бежит за ним какой-то, проталкивается

между мужиками да рядами гимназистиков-студентиков, в руке шкворень железный, из телеги, знать, выдернул. До-гнал он этого гимназистика, тот, видать, край свой учуял, оглянулся. Мужик-то как ахнет его железным шкворнем по темени. Гимназистик, как грибок, свалился.

Что тут поднялось! Крик, шум, стрельба. Гимназисты — враспынную, кто куда. Подводы — друг на друга, там телега перекувыркнулась, тут лошадь кого-то придавила. Здесь мужики кого-то месят, там мужика нагайками хлещут, стекла в магазинах звенят, вдребезги летят, камни, пули, топоры, сабли... Какими дворами я бежала, какие заборы перелезала — убей, не знаю. Да и из города-то я выбралась совсем не в нашу сторону, не на большак, а на ту дорогу, по которой от сапожника я Николая на рысаке увозила. Должно быть, уж по чутью я туда опять пробралась.

Прибрела я тогда домой, слава богу, как говорится, жива осталась.

Так, думаю, одела Петю, вырядила Маню, и сама от нее подарок, черную шаль с длинной бахромой получила. Кто-то, кто-то жив останется...

Свобода, равенство и братство...

Утром ко мне Михайло Кренив вдруг приходит (он с тех пор, как был у меня со старостой да с конятыми в ту ночь — об этом после скажу, — ни разу не заходил ко мне в избу) и, как будто ничего не знает о том, что в городе случилось, спрашивает:

— Ну, что же, Прасковья, похвались, что тебе досталось там. Тебе, я чай, особенную долю выделили, как у тебя сын нонче в моде.

Я молчу, а он опять:

— Чай, нести-то устала. Ты б лошадку у меня попросила, я бы опять рысака тебе не пожалел...

В ту ночь, когда ко мне приехал Николай со своим отрядом Красной гвардии, я первый раз в своей жизни увидела патроны. Навалили они их тогда на столе целый ворох, а я вдруг подумала: «Сколько же тут на моем столе смертей лежит! Штука, — думаю, — какая!» Взяла одну да к Николаю:

— Николай, — говорю, — штучка какая...

— Да, птичка-невеличка...

— Чем же убивает, Николай?

— А вот эта серебряная. А эта — на отброс.

Так вдруг тогда мне в самое сердце проникли почему-

то эти его слова «птичка-невеличка». Почувствовала я, словно бы с того часу жизнь моя заострилась на носике светленькой пули, вся доля-недоля моя будто заряжена и ждет своей минуты.

Сила, сила-то какая! Свистнет, да в сердце — и край... Не испугалась я тогда ничего, не поразила ничем, хотя по всему видела, что и Николай и его гвардейцы, которым он раздавал патроны, решились на все. Я даже о Петруше у него тогда не заикнулась.

— Прасковья, — спрашивает у меня Николай, — у Михайлы Кренева сколько лошадей?

— Одиннадцать.

— Одиннадцать да четыре... Хватит, ребята.

— На город, Николай? — спрашиваю я.

— Да, Прасковья, окопалась там всякая такая сволочь.

Поднялся мой Николай да у гвардейцев, которые вошли в избу, спрашивает:

— Кто запрягать умеет, пойдём за мной, человечка четыре-пять.

Они — на улицу, и я за ними. Что же, думаю, он собирается делать? Неужели хочет самовольно лошадей у Михайлы запрять?

Однако за Николаем увязалось человек десять. Подходят они к Креневым, стучат в дверь. Вышел сам.

— Кто там? — кричит из сеней.

Николай ему:

— Открывай!

— Кто, спрашиваю?

— Открывай, народ требует!

— Какой к черту народ?! Говори толком, кто?

— Считаю до трех... Открывай! Заряди, ребята!

Когда они защелкали затворами, я почувствовала, что винтовка — живое существо. Сколько я потом оружия видела, сколько сама переносила — мне всегда казалось и кажется, что в стволе каждого оружия есть душа, и даже не душа, а какое-то тонкое, холодное существо. Сама на себе я испытала и многократно проверила это страшное ощущение, когда впоследствии наедине подолгу смотрела в дуло револьвера или винтовки. Мне всегда, всегда мне казалось, что из темного отверстия на меня в упор глядит кто-то.

Вот когда красногвардейцы Николая навели свои винтовки на дверь, меня словно бы осенило. Со мной, как я сама себе теперь определяю, случилось вот что: именно в

ту минуту мне открылось, что оружие, что его тонкая холодная душа решит все мои узлы. Словно бы из дула этих наведенных на Михайлову дверь винтовок что-то отозвалось на мою каменную тоску, как-то ответилось на мое одиночество. Будто бы не на дверь они были наведены, а к моему сердцу притиснулись все и, как живые хоботки, всосали в себя мою злобу. В секрете, втайне, душой всей я поняла и почувствовала, что я могу владеть оружием, что со мной совершилось что-то, что я, как гадюка, вылезла из своей старой кожи, и нет теперь сельской бабы Прасковьи, нет и не быть ей впредь. Аминь!

Самая страшная и горьчайшая из всех горьких обид и унижений, перенесенных от Михайлы, припомнилась мне, когда красногвардейцы навели дула винтовок на его дверь. В темноте я словно бы опять увидела детский свивальник поперек моей постели, как он лежал в ту ночь, когда я прямо с реки угодила в лапы к Михайле со старостой да с понятиями. Я сразу же тогда решила себе каторгу. Свивальник, думаю, они так положили нарочно на глазах, чтобы меня поразило, чтобы я с повинной тут же грохнулась.

Да я, наверно, бы и грохнулась им с повинной и во всем бы тогда же и открылась, помолчи староста хотя одну еще минутку — нет, нет, не минутку, а одно-разъединое мгновение. Староста спас, староста, тем, что он заговорил, не помедлил эту секундочку. Мужик он у нас совестливый, застенчивый, неудобно, видать, ему показалось ко мне с обыском явиться. Подошву он со стола взял да мне показывает:

— Вот, — говорит, — Прасковья, были мы у тебя по требованию Михайлы Прохорыча с обыском, подошву его нашли. Подошва, конечно, верно, казенная. В ответе быть за нее полагается.

Это меня-то к ответу за подошву, которой он грозил мне по морде ударить и которую нарочно у меня оставил.

Но, как видится, не хватило ему этого моего позора, не насытился он, знать, этим. Уготовил он мне тогда еще и на закуску.

Когда мне определили быть три месяца в арестантских и я уж приготовилась перенести, как вдруг меня извещают, что за меня вместо наказания уплачены деньги неизвест-

ным лицом — штраф. Я тогда сразу уже решила, что Петрушина обо мне забота, что товарищи его по его просьбе обделали все и освободили меня.

Так меня тогда утешило, так мне было радостно. Думаю, значит — живехонек, значит — обо мне печется-заботится соколик мой ненаглядный.

На крещение в тот год у меня срок батраченья у Михайлы выходил. Кончилась, думаю, одна заботушка — долг с плеч. По людям, думаю, буду ходить на работу, сторожихой в школу наймусь, но у него не останусь. Хватит. В крещенье встретила его на дворе и говорю ему:

— Давай сюда векселя. Забыл, что срок мой кончился?

А он мне:

— Старый кончился, новый начался.

— Это как же так, спрашивается?

— А вот так, — говорит. Да мне выкупную квитанцию, по которой, оказалось, он, а не Петины товарищи, заплатил за меня штраф вместо тюрьмы, к самым глазам обеими руками за уголки приставил...

— Раз... Открывай! — считает Николай.

Только сказал «раз», слышу, Михайло из сеней в избу — шашь. И Николай, видать, понял, что Михайло убежал в избу. Отошел от дверей в сторону да и скомандовал:

— Двинь разок, товарищи!

Вот залп когда грохнул, я словно сама не своя сделалась.

«Наше, — думаю, — наше теперь все. По-нашему, по-Петрушиному теперь все. Наша воля, наша сила». Подскочила я к Михайлову окну да как садану кулаком в раму, только стеклышки зазвенели.

— Отпирай, — кричу, — ирод! Край твой наступил, иуда!

II

Из грязи да прямо в князи... Ну, кого же было избрать в коноводы, в председатели комбеда, кроме меня? Да я и сама этого хотела, да, пожалуй, и добилась бы этого, если б меня не выбрали, — такой у меня тогда образовался пыл на моих заклятых врагов. Расцвела я тогда, распушилась я.

Помню, в девках еще я однажды видела сон очень страшный. Будто очутилась я в лесу. День такой синий-си-

ний. Прямо передо мной полянка, и вся она засажена огурцами. Огурцы цветут. Уж так цветут, так цветут — сплошной цвет!словно вся полянка желтым огнем горит. А кругом лес высокий, густой и тоже синий-синий.

Я закричала тогда благим матом во сне, проснулась и все никак не могла успокоиться. Очень уж я испугалась этого страшного цветенья.

Вот таким пустым и страшным цветом я и зацвела в те дни. Уж начиная с весны восемнадцатого года все мои события так и сдвинулись, что из первых большевистских помощников я очутилась в бандитках.

Лучше бы змея ядовитая в самое сердце меня уколола, краше бы глаза мне глиной засыпали, чем нежели было узнать мне Петрушино подозренье, услышать его укор. Ждала мать ненаглядного сына, мечтала, грезила, и вот тебе — на, радуйся, мать, встрече с разлучным детищем, осуши свои горькие слезы, утоли свою печаль лютую, согрей размыканную душу...

Да и не только подозренье его, не только укор незабывный бросили меня в отчаянье, а равнодушие его, его безразличность холодная, безучастность его. Ведь почти два месяца, как он, мой Петруша, был в нашем городе, верховодил там, всеми земельными делами управлял, а мне — ни строчки, ни весточки, ни письма. Хоть бы наказал с кем. Ведь я земли под собой не чуяла, когда бежала в город, как только бывший наш староста сказал мне, что он виделся в городе с Петрушей, что он разговаривал с ним, и попыталась я у старосты, что обо мне-то он ни словечка не обмолвился.

Пришла я тогда от старосты домой — сама с собой не совладаю. Комкаю все, что попало, спешу, собираюсь в город, в город бежать. Одна забота — чем, чем Петрушу обрадовать? Каким гостинцем? Какими дарами? За это хвачусь, за тем брошусь — все не то, что надо, что хотелось бы. Да и не знаю, не пойму, что мне хочется-то. Сундук открыла — давай метать все направо-налево. Чего ищущу, сама не знаю. Мелькнуло у меня в мыслях — распашонку, в которой Петруша крестился, розовенькую, светло-светло-розовенькую, распашонку с зеленой шелковой ленточкой понести ему теперь. Так вдруг захотелось именно эту распашоночку ему в такую встречу дать.

«Блюди, — мол, — Петруша».

Все, все поймет сын, все почувствует, не горе, не горе —

нет. Горе — наплевать! Радость, счастье мое родительское от встречи с ним поймет он, мой сокол, через эту светло-розовенькую распашоночку, через эту первую в своей жизни рубашечку.

«Ау, мой желанный! Ау, мой ненаглядный! Вот она, распашоночка твоя! Вот ты какой крохотный у меня был: вот тут ручонки, толстенькие, Петруша, у тебя были ручонки, с ямочками, с перетяжечками пухлыми, — в этих перетяжечках, в этих розовеньких ямочках, Петруша, Петя, столько радости, столько счастья находила твоя мать! Отсюда вот ножонки-лапочки, пальчики торчали. Вот так ими ты барабанил по воздуху, ноготочки малюсенькие и всегда задирались — усик задерется, как иголочка остренькая, в щеку, в грудь меня уколёт — тоненький укол, радостный укол. А вот тут ленточка зеленая вылиняла, ты на нее слюнявился, от слюнок от твоих она вылиняла. А-а, ау, родненький!»

Собралась, скрутилась да передохнуть села на лавчонку, перед окном; сундук я уж не стала убирать, — как разбросала все, так и оставила. Вдруг облачко на меня, на мою радость налетело. Что ж, думаю, он у старосты обо мне не спросил, что ж весточку о себе не подал?

Гляжу я на улицу, на березу — у нас прямо перед окном береза растет: ветер на воле, ветер ветки голые, черненькие так и трясет, так и мечет их из стороны в сторону у меня перед глазами. Через двойные рамы глухо, ни ветра не слышно, ни шороха веточек, словно там, на улице, совсем другая жизнь, другой, бесшумный, но очень тревожный мир.

И меня это растревожило. Да ненадолго! Мелькнуло облачко да прочь унеслось. Опять душа озарилась ярким солнышком.

Не подал, думаю, весточки, значит, только что прибыл, значит, пельзя было, и уж, наверное, сам собирался, рвался ко мне.

Я ведь уж в городе узнала, что он почти два месяца до нашего свиданья верховодил там по земельной части.

А тут еще втемяшилось мне забежать к Мане Казимировой. Думаю, может, она записку со мной напишет ему, поклон пошлет — все радости я ему сразу в один узел собрать решила. С собой ее взять мне не хотелось, одной, одной хотелось свидеться с Петей в первый раз.

Маня оказалась дома. Присела к уголку стола, листочек

бумаги перед ней, пишет что-то. Уж, думаю, не узнала ли и она о Петруше, не ему ли письмо отписывает?

— Здравствуй, Манюшка, здравствуй, голубушка. Помешала? Письмо ли кому готовишь, не снесу ли кстати?

— Нет, не письмо. Да и некому писать. Все дома.

Сама такая печальная, такая туманная. Присмотрелась я к ее писанью — вижу, совсем не письмо, совсем не похоже на письмо. Стихом написано. Песня записана. Видать, новую где-то достала. Мне, как я посмотрела, запомнилась одна строка из того, что было записано на свежей странице. Начало-то, по-видимому, было уж списано на обратной стороне:

«Не живой он был, а умирающий...»

— Маня, это кто же такой «умирающий»? Умирать ли теперь! Кстати ли умирать-то?

— Так... песня... про лебедушку...

— А петь-то кому думаешь, родная?

— Некому... Себе...

— Некому?! А ты, ягодка моя, найди — кому.

— Искала, да не находится.

— Покличь, авось отзовется.

— Нет, не откликнулся.

— Так и нет?

— Так и нет... все на одну колодку: песню слушает, а рукой...

Поняла я ее. Свою непорочность девичью вспомнила. Ей быть за Петрушей. Не кому другому, — ей. Только она и завершит его счастье, только она, разьединственная, и озарит своими чудесными глазами новую Петрушину долю, с ней и придет самый радостный праздник к Горяновым в дом.

— Маня, — говорю. — Петрушка мой объявился. В городе он комиссаром по земельным делам. Староста Изюмов виделся с ним. Лично виделся.

И она меня порадовала, вспыхнула вся, заторопилась, в лице изменилась, словно бы испугалась. Потом изорвала все свои бумажки и опять притихла, опять стала медлительной да печальной. Опять о чем-то задумалась, затуманилась.

— Что с тобой, голубушка моя?

Только и успела я спросить. Упала моя заетка головой на стол да навзрыд зарыдала. Не стерпела и я ее слез, и у меня к горлу подступило, глаза заволокло. Глаза слезой

заволокло, но на сердце спокойно, тихо, да радостно, да уютно сделалось на сердце. Никаких подозрений у меня не было, никаких сомнений относительно ее слез: любит Петю, вот и плачет, от радости плачет.

Часом ли, двумя ли позднее этих ее проклятых слез я впервые заподозрила окаянную ее подлость, самую низкую из всех подлостей. Заподозрить заподозрила, да в тумане осталась до того дня, когда я в подлинности узнала, какую продажную роль она играла над моим Петрушей, когда жила со своим отцом на их заводе.

Из письма я ее заподозрила ее пакость. Письмо она тогда со мной написала Петруше, а я, как на большак вышла, огляделась да письмо ее из кармана вытащила, так у меня руки затряслись над ним. Все, думаю, теперь откроется, все объяснится. Ну, какой матери не любопытно в доподлинности узнать про любовь своего сына?

Вскрыла, прочла да черную змею себе в сердце нажила. Вот что она Петруше описывала. Не передала я этого письма ему, сказала потом, что обронила, хотя Петя на меня и взелся за это. (Как же потом раскаялась я, что не передала, уничтожила!)

«Уважаемый Петр Ефимович!

Шлю вам свой низкий поклон, если вы тому не погнушаетесь теперь, и примите его близко к сердцу. О своей оконченной жизни здесь в селе мне описывать вам нечего, а вам и читать не захочется. Да и не писала бы я вам, коли моя бы не неволя, и знать бы вас не хотела, и видеть бы не желала. Теперь я слышала, что будут карать таких людей, как я, и им никакой не будет пощады. Что же! Ваша, Петр Ефимович, власть и ваша надо мной воля. Что захотите, то и сделаете. Только одно я скажу и помереть доведется — тоже повторю: не в моей воле было все, не от моего желанья зависело, и сама я ото всей души никогда вам не желала зла. Раба я, раба подневольная. Притиснули меня, прижали к стене, в такое меня положение запутали, что я бы и родителями своими от них откупилась и не учуяла бы, что продала. Как это все незаметно подвелось, подстроилось, до того незаметно, что, когда вы меня «сволочью» обозвали да по щеке ударили (помните, в Захупте, когда все наши заводские туда на закатки ходили, у кривого мостика, вы еще тогда меня совсем прикончить грозились), — я не вдруг тогда и поняла, за что, за какой пустяк вы так разгорячились.

Только одно это и могу сказать в свое оправдание, — незаметно все сделано, нечаянно. Меня и отец родной чуть не проклял за это, когда я матери во всем открылась относительно вас. А когда я потом поняла да уяснила все себе, так уж куда же мне было пятиться, как же было мне отпираться, когда глупый ребенок и тот сообразил бы, что я отпираюсь и что меня научили отпираться от всего, что я сделала? Ни к чему же все было, уж все было равно, и уж ничего нельзя было предотвратить.

Вот мое вам, Петр Ефимович, теперь об этом письмо. Погнушаетесь вы им или нет, все равно я вам опишу, так как увидеться со мной вы, наверное, побрезгуете.

Низко кланяюсь вам еще раз

Маша Казимирова».

Разыскала я в городе Земельный отдел к вечеру. Огромный белый дом, окна частые да большие, нарядный такой дом, в три этажа, с балконами, с резьбой, с финтиклашками разными, не тронутый, в сохранности, так что вывеска к нему, большая красная вывеска со снопами, со жнейкой, с двумя мужиками — один с молотком на плече, другой с серпом, рука за руку здравствуются, — совсем эта вывеска не к лицу такому зданию и даже портила его вид.

Я этот дом, прежде чем в него толкнуться, со всех сторон оглядела, оценила: тут, думаю, заправляет мой Петруша, значит, решаю, все богатства у него в руках, значит, завладел он своей долей, не упустил свою часть. Дьявол бабу соблазнил, а баба мужика. Вот и меня тогда, должно быть, дьявол, раздарила на богатство, на выстраданную моим Петрушей часть. Во двор я заглянула: жнейки, веялки, молотилки, — чего там, чего там нет? Мне кровь в голову ударила. Я вдруг осмелела, прошла во двор, разгуливаю там, как хозяйка, осматриваю все, ощупываю, новенькое все, крашеное все, заграничное все.

Такая жадность во мне вдруг забилась, такая зависть ненасытная, так бы вот все схватила, все сгребла да к себе, да бегом, бегом. Вдруг слышу в душе у меня маленький подленький голосок, на цыпочки приподнялся, ручку ко рту трубочкой приложил и шепчет, мне подыеферивает: «Петрушино все, Петруша твой всему здесь хозяин. Разжалоби его, прослезись перед ним, пресмыкнись, упомяни ему нужду свою холодную, голодную. Сын твой, кормилец твой, попечитель твой, — выделит, не обездолит, не откажет. Добра-то сколько! Богатство-то какое! Матери на нужду.

Нищенке, несчастной страдальце. Пресмыкнись перед ним! Зазорно ли перед сыном пресмыкаться?»

Ай да голосок! Ай да бесенок! Смутитель мой, соблазнитель мой! Пагубный. Не вырвала я тебя тогда, не раздала тебя, гадину. Вырвать бы, голову твою чертячью, пушистенку, положить на камень да булыжником острым, кремнем несокрушимым разможить бы все, расплюснуть все, тельце твое шерстяное растереть бы в пыль в грязь да, как кошку дохлую, на мостовую бросить.

Пусть бы тебя ломовики колесами укатали, пусть бы солнышком спалило, ливнем бы смыло, в яму, в навоз. Сопреть бы там тебе, погубителю, на веки вечные.

Уж верно, что свинью к грязи, а человека к богатству да к власти не пускай.

Сторож, должно быть:

— Тебе чего понадобилось, гражданка?

Я и сторожа того презрела. Думаю, есть ты только сторож. По почам сторожить тебе приказано моим Петрушей, вот твоя и власть вся, как на ладони.

Мода тогда уж установилась «товарищами» всех величать.

— Товарищу, — говорю, — Горянову я матерью довожусь. Он у вас тут набольшим.

— Нет, — говорит, — у нас такого Горянова. Ошиблась ты, гражданка.

— Как так — Горянова нет?

— Так, нет. Набольшим у нас Гостев находится, Петр Ефимович, а не Горянов.

Так у меня и завертелось все перед глазами: и сторож, и жнейки, веялки, и дом, и двор. Я сразу догадалась, что Петя мой, Петруша мой, уже не Горянов, а Гостев, Гостев, а не Горянов.

Теперь одна я, только одна осталась Горяновой. Ужели позор ему от нашей фамилии, ужели бесчестно ему Горяновым быть?

Радость за радостью тебе, Прасковья Горянова! Горянова, а не Гостева, как твой Петруша...

В ту минуту, я, кажись, всех бы Гостевых, всех бы, кто это слово-то выдумал, тут же на земельном дворе задумала.

Рожала я, баба, Петрушу Горянова, а вышел Петр Ефимович Гостев. Его ли уж распашоночка со мной? Он ли уж ленточку-то заслужил зеленую?..

— Что ж, — говорю сторожу, — подавай и Гостева. И Гостев сойдет.

— Ну, а сойдет, так ступай в Кузьмин дом на Козловской улице. Там все левые эсеры живут. Они все отдельно от большевиков помещаются. Служить вместе служат, а домами врозь. Сын тебе, значит, приходится наш-то Гостев?

— Приходился сын...

— Ну, как сын, так, чай, просить будешь, — и кивнул мне на жнейки, молотилки.

И опять у меня в душе шерстистый бесенок подпрыгнул. Так и взвизгнул мне в самое ухо... А тут еще и сторож тоже: до того он по-нашему, по-простому понял меня и так простодушно мне во всем поддакнул, что я вдруг ему понесла, запела, нагородила и о бедности своей, и о нуждах, и о заботах, о горестях и обидах.

«Ой, нищенка! Ой, лопотница я горькая!»

И сторож мне:

— Проси, проси. Все, я замечаю, тащат. А твой-то стороже других. Да ничего, выпросишь. От такого богатства да матери родной не выделить?

Кузьмин дом на Козловской улице я давно знала. Самый отменный дом в нашем городе, самый богатый, самый хитрошный со своими пристроечками, башенками, конечками.

В нем я и встретила после тяжелой разлуки с моим кровным. По коридорам, по лестницам хожу, путаюсь — ни души кругом. Ни спросить, ни разузнать. Открыто все, настежь все, и все пусто, нигде нет никого... И шаги мои гулкие, звонкие. И на улице светло еще, и электричество везде полыхает. Вышел бы кто, выглянул бы кто... Мрачный дом. Мертвый дом.

В одном закоулке мне показалось — кто-то прошел. Я осмелела, крикнула:

— Кто тут есть, постойте!

Ни звука мне. Только мой же голос зазвенел.

А шаги все дальше, дальше. Я по коридору в ту сторону бегом. Поворот. Только я за поворот выскочила и вдруг... Ой?.. Как визгну что есть силы. Отнялось у меня все. Край мой, край! Прямо на меня из-за поворота — зверюга рыжая, тигра пятнистая клыки ощерила, лапу с распущенными когтями подняла, глаза желтые, зрачки огромные-огромные так и вонзила в меня.

Только смотрю я, что же такое! Цigarка у него обкуренная в зубах. Догадалась я, что это чучело.

Будь ты проклято!

Успокоилась, и опять дом пустой, мертвый.

Вниз куда-то спустилась, голоса услышала, гомон какой-то и вроде песни поют. В одну дверь постучалась, в другую — нет ответа, и дверей больше нет, а голоса и шум отсюда, за этими дверями... Опять стукотать, все сильнее; наконец услышали. Отперлись. Любуйся, Прасковья, на картину.

Огромная комната, и не комната, а низкий подвал со сводами. Бочки, корзины с бутылками, ящики, банки, око-рока, грязь, дым, вонь, все пьяные вдребезги. А вот и Петруша мой.

Соколик мой, мне ли, моим ли глазам было видеть тебя таким после моей тоски, после смертной разлуки?

Помнишь, какими словами ты встретил свою мать в этом подвале, в этом аду кромешном?

Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке.

Помнишь ли, в чем ты заподозрил свою мать?..

III

К яровому севу мы готовились.

Мной в то время чертенок шерстистый вконец овладел. Хозяйство мое к тому времени конем было не объехать. Изба моя в дом превратилась. Обоями оклеена, кресла плетеные поставлены, стулья разные — и витые и резные. Крыша новая, зеленая, амбар от хлеба ломится; ведь когда мы комбедом разделили рожь, что у богатеев отняли в свою пользу, так мне из одного Михайлы Кренева амбара двести тридцать пудов пришлось.

Как по щучьему велению все образовалось.

Вот, вот она, доля моя, перед революцией заслуженная, часть мне за страдания и за сына выделенная. Лошадь мне определили ту самую гнедую толстую, на которой я в день открытия Ефимова тела навоз везла, которую я во сне своем чудесном видела. Жнейка у меня новая фирмы «Гаррисон», молотилка ухловская, веялка-уфимка: покажу я вам всем, как баба умеет хозяйством заправить, прирост к нему найти, удвоить его, утроить его, удесятерить. Докажу я вам, какая рожь выцветет, нальется на моей полосе, какое просо раскустится у меня.

Да и в том ли еще толк. Да и в этом ли еще жизнь?

Бес в ребро, бес меня, бабу, за сердце. С жиру брыкнула кобылка. Буйство во мне открылось, блажь мне, бабе, в голову ударила.

И мягка стала постель — я за пуд муки тогда перину пуховую в десятину шириной в городе выменяла, да еще сами на дом принесли, — и мягка постель, да вот не уснешь. И сила моя, и власть моя. Меня в те дни наши хохловские богатеи как огня боялись. Мне бровью повести, а им на всю ночь суды-пересуды: отчего-почему Прасковья бровь нахмурила, чем разгневана, кем обижена, кто ей не угодил?

Разошлась баба, разгулялась баба! Со своей жизнью на улицу вышла.

А тут весна — щепка на щепку...

А ночью — ночью... Безветренные тогда ночи стояли, сочные, густые. Там в лесу засвищет, там в поле трубой застонет, там на болоте утка закрякает, селезень зашипит от страсти...

Эх! Бабе — под сорок. Баба сытно ест, мягко спит. Раскуси, что ей на ум взбредет?!

Выследила я как-то ночью Васю Резцова с Маней да и разлучила их напрямик. Как бы нечаянно я их встретила.

— Вася, это ты? Вот кстати. Пойдем, что-то по делу скажу. Не засохнет твоя кралечка.

Он у меня в комбеде тогда видную роль исполнял, всегда при мне юртился. Ушли мы, одну ее оставили.

— Кралечка, — говорю, — не засохнет твоя.

— Уж и моя?

— Не моя же.

— Ну, и не моя.

— А кто же твоя? Неужель ты без кралечки?

Кость запахнет — пес учует.

— Ау, Васенька, возьми меня в кралечки. Старенькая я, зато борозды не свихну.

— Уж и старенькая?!

На этом и осеклись оба. Иду я, а он за мной. Куда я веду, туда он идет.

Ой, смертушка моя, смерть моя от моего желанья... долго-то как, дорога-то до моей избы какая длинная. Никогда такой длинной не бывала... Все тело гудит, все тело стонет... Долго-то как! Не скоро-то как!

В сенцы вошла, к косяку беспутной своей головой я при-

жалась, передохнула. Тут бы и упасть... Да, знать, не час мне. Слышу, в избе у меня кто-то есть.

— Васенька, уходи... убегай...

Виденье, что ли, было? Сон, что ли, такой огненный при见得ся? Не просыпаться бы. Застыть бы навеки в этом сне...

В избе меня Михайло-Кренив ждал. Я в тот вечер сама ему наказала прийти, да блажь из памяти выжгла этот наказ.

Приказывала я ему по делу. У нас на послезавтра назначалась сходка комбеда — овес семенной у богачеев отбирать. Вот я и удумала тогда Михайлу Кренива на сходке всеобщему позору подвергнуть. Решилась я всеми силами принудить его, чтоб он перед сходкой повинился в своем иудинном ко мне поступке с подошвой, через которую приволокло меня в суд.

«Кишки, — думаю, — у живого на пятки вымотаю, а заставляю».

Уж мне ли в тот час не злой было быть за этот его неурочный приход?

— Ты как вошел? Как ты двери отпереть смел?

С тех пор как у меня добро завелось, я не то что засовы да крюки, а замки вешать стала.

А он мне:

— Замки-то, чай, знакомы мне, не чужие.

Ирод! Про замки напоминает. Это верно, что на дверях избяных у меня его тяжелый квадратный замок повешен был. Ключ у него, длинный, плоский ключ, наверное двойной, в запасе был. Однако не больно он смутил меня своим намеком.

— И лошадь, — спрашиваю, — твоя у меня? А моя где?

— Была моя, теперь твоя. Твое — мое, и мое — твое. Ясней ясного, проще простого. Комму — на, комму — нет ничего.

— А было как?

— И было так.

— Ну так, так и перетакивать нечего. Ты что пришел?

— В работники, в батраки не наймешь ли обоих с Федькой? Ценой не обижай нас. Мы — сироты. У нас — папашки с мамашкой нету.

— Не скаль зубы, а то выбьют.

Тут он мне сурово, серьезно так:

— Тебе б не выбили, Прасковья!..

Сразу я почувствовала угрозу какую-то, однако не сда-лась, да и виду не показала, хотя голос его, его тон меня очень встревожили

— Некому, — говорю, — мне зубы выбить. Кулаки у всех скручены да в рот каждому запихнуты.

— Дура баба!

— Не дурачь!

— Не дурачу. Хохловские тебя убивать будут после-завтра на сходке. Комбедов твоих, которые понахрапистей, подпоить задумали. Ужо растрепят тебе космы. Всех, гово-рят, в ответ потянут, а мир — не один человек, вину не од-ному нести.

В упор я его спросила:

— Правду ли ты говоришь, иуда?

— Убивать начнут — проверь.

— А почему ты меня предупреждаешь?

— Не твоя загадка, не тебе разгадывать.

— Твоя шайка, ты за богатеев ведь!

— Дура баба, волос долог, ум короток.

— А дураков-то вовсе стригут, они вшивеют. Говори толком, пес!

— Я за себя. Нет у меня никакой шайки. Я — вся моя шайка-лейка. Сгори огнем вся Хохловка. Страсть мне в них. Болячка мне в них. Всех одолеете, а на мне зубок у всех хрупнет. Да и не жаль дураков...

— Запрягай рысака, ступай. В город еду.

— Слушаюсь, хозяйка. Может, за кучера возьмешь? При-гожусь, может? Не ровен час и заблудиться можно.

— Ох, иуда! Молчи! Не тирань мою душу. Заблудился один, помнишь? Ефимом в живых величали?

— Воля божья.

— А вино чье?

— Вино казенное. Его пить никто не запрещал. Да и не принуждал никто. Всяк про себя соображал.

— А ты, иуда, знаешь, как мой Петр меня резнул перед своими товарищами? Вот, говорит, мать моя. С головой баба. Батька мой как ей наскучил — так и замерз в чистом поле. А батька, батька у меня был какой...

Утром у Петруши на квартире, когда я сидела чай пила да рассказывала, что меня завтра будут убивать, вдруг вбе-гает к нему огромный бородатый человек, глазаща крас-ные — опух весь, и рычит на весь дом:

— Гостев, Гостев, слушай, Горянов, Гостев!

— Слушаю, Мысягин-Клемашев, — улыбается Петрушка.

— Дурак, дубина, осел!

Мысягин этот кричал, бил себя своими кулачищами в грудь, хрипел, плевался, ворочал своими коровьими белками с кровяными жилками, но до того он мне показался добродушным, до того сговорчивым, что свирепость его насмешила меня. Он и на меня бросился.

— А ты что, дура, смеешься? Мать, что ль?

— Да.

— Вот и балда! Петьку твоего шлепнуть хотят. Слушай ты, осел чертов, ведь тебя провокатором большевики, собачьи дети, объявили. Вот читай, дубина, читай, сволочь вихристая. Какие такие списки очутились в охранке? Я этим большевикам пойду сейчас морду квасить. Всем подряд. А Николке зубы в порошок раздроблю. Они хотят опозорить нашу партию! Среди социал-революционеров — интернационалистов не было и не будет провокатора! Никаких списков! Враки! Гостев-Горянов — борец!

Я тогда впервые услышала это слово «провокатор». Но сразу же поняла его смысл, его самое страшное и самое позорное значение.

Была у нас тогда в селе одна юродивая, Шима-дурочка. Не то мужик, не то баба. И одевалась-то она совсем по-чуждому: мужичьи портки напялит, кофту и платок подвяжет. Особенную страсть эта Шима-дурочка имела к платкам. Она подвязывала на себя иной раз по десяти платков и в любую жару жаловалась, что у нее мерзнет голова. Всех решительно она звала «нянькой». Мужик ли, баба ли — кто ей навстречу попался, к тому сейчас и прилепится:

— Нянька, нянька, платок подари. Платок подари. Голова застыла. Ой как застыла!

Вот эта Шима-дурочка и встретила меня, когда я возвращалась из города, оставив там Петрушу в его позорном и опасном положении. Лишь я в село вкатила, как она ко мне бегом-бегом, передернулась по-обезьяньи, руки болтаются, чуть землю не загребают растопыренными пальцами.

Я было тронула рысака, чтобы от нее отделаться. Не тут-то было. Бежит и бежит за мной Шима, зад свой кверху подкидывает, быстро бежит.

— Нянька, нянька,— кричит,— подари платок, подари платок!

Народ на ее крик выступил, так дружно вдруг на улицу высыпал, что меня вконец изумило. Ну, мало ли кого встречает Шима? Мало орет «подари платок», но ведь ни разу еще не случилось, чтобы на ее крик народ так на улицу высыпал. Связали меня эти крики. Остановила я лошадь, подбегает Шима, я ей нижний беленький платок развязала и отдала, чтоб отвязаться.

Так нет же, уцепилась моя Шима, лошадь воротит, орет:

— Нянька, нянька, подвяжи меня! С «галочкой» меня подвяжи.

Треснуть бы тебе в одночасье, чертова юрوديца! Подвязала ей я платок: отвязись ты, шивая сатана. Как бы не так:

— Подари другой, нянька, подари этот, нянька.

— Самой нужен, Шима, самой,— говорю,— необходим.

— Подари, нянька, подари. Все равно они его измажут.

— Кто измажет?

— Они измажут, нянька, они. Подари, нянька, подари, скупая.

Огляделась я: вдоль всей улицы — народ. Смотрит на меня. Пристально, подозрительно. Это, думаю, что еще такое? Чего глаза так лупят на меня? Зеленая, что ли, я? Крылья, что ль, выросли у меня или чертячий хвост болтается?

Не соображу того, что уж всем решительно, даже юрوديной Шиме, стало известно, что завтра на сходке меня будут убивать самосудом.

Оттолкнула я дурочку, стегнула рысака, да и была такова. Только пыль закудрявилась.

Лупите бельмы на пустую дорогу, кому не лень. А я вам не вывеска.

В городе меня относительно самосуда успокоил Николай, который был в нашем уезде за председателя Совета Советов. Он же меня и наставил, как поступить, указал, что нам вовсе незачем собирать кулаков на сходку, чтоб уламывать, умасливать их, а просто-напросто пойти комбедом и выколотить у них овес на семена. (Мы в тот год решили всю княжескую землю, тысячу семьсот десятин, засеять союбща, а по урожаю распределить на корню по едокам. Семена нам позарез нужны были.)

Велед он мне взять еще пяток-другой кулаков и посадить

их как заложников, на Михайлу Кренева напирал, да я заступилась: мол, он им — не друг. Тут же с приезде я послала нарядить собрание бедноты, чтоб все рассказать, обо всем условиться.

Нарядила. Час жду, другой жду — ни души. А бывало, и без наряда толпами снует беднота то к управе, то из управы. Опять послала наряжать на собрание, и опять никто не пришел.

Вот тебе раз! Беднота-дружнота. В сумерках домой ушла одна-одинешенька. Тут уж я окончательно сообразила, что и мне, и всей моей затее уж могилу вырыли хохловские.

Когда стемнело совсем, пришел ко мне Вася Резцов, мой привороженный. Вижу, растерян, вижу, напуган мой сокол удалый.

— Ты что, — спрашиваю, — Васенька? Кралечку свою старенькую пожалеть пришел?

Вспыхнул мой парень, ободрился, повеселел.

— Ты уж знаешь?!

— Раньше тебя...

— Вот как?.. А я... я думаю, ты не знаешь. А коли так, коли все известно, так мы их... Так чего же наши смотрят?

— Смотрят, как с неба манная упадет, вот какие ваши-то.

— Знаешь, Прасковья, что они без тебя сегодня утром, хохловские, выкинули? Я еще спал, слышу — грох!.. грох!.. Тут прибегает ко мне Володя Сергейчев: «Васька, — говорит, — хохловские «галку играют». С винтовками (винтовки тогда с войны навезли — страсть), с песнями по огородам маршируют. Бородачи сами — смехота. Степка Попойников за ротного у них. Так и отжаривает с песней: ать-два, ать-два.

...Серый село-езень плывет...

Ой, гоп, сударня, ой, гоп, ударила...

Серый селезень плывет...»

Еще четыре дня подряд час за часом я наряжала собрание комбеда. Придут человек десять — пятнадцать, посидят-посидят со мной до вечера и по домам ни с чем разойдутся. Хохловские тоже присмирели, выжидают, когда их на сходку соберут.

Ни мы, ни они ни с места. А пахота, а сев стоит. Решилась было я отряд из города вызвать, да Михайло Кренин меня под руку подтолкнул:

— Не смей, — говорит. — Отрядам дорогу сюда укажешь, не обрадуешься. Отряды эти и тебя ощипят. Тебя ведь теперь тоже есть за что пощипать. Сама управишься. Отрядом припугнешь раз, а уедет — опять то же на то же. Сама дошибай их. Черт ли ты с ними церемонишься? Разнюнилась баба. Убивать они тебя передумали, а вот решили платок с тебя стащить да волосы при всем народе растрепать.

Я его послушалась. Да и самой-то мне еще и тогда не очень хотелось *чужим* дорогу в наше село *показывать*. К тому же и злобу мою, самолюбие мое он, Михайло Крив, сильно захлестнул. «Разнюнилась баба». Настою, думаю, на своем. Быть по-моему. Пусть пробуют. А то — платок измажут, платок измажут. Сунься попробуй. Отведай моего «припаса». Да я свой платок дороже ста их жизнью ценю, то есть не платок, не из жадности, конечно, а вот из-за того, что они своими погаными лапищами коснутся моего платка, сорвут да волосы растрепают.

«Разнюнилась баба». Дружок милый нашелся. Советчик какой, иуда! Я в те дни и не подозревала, какую он линию гнул. Уж потом, когда мы с ним в дружках-единомышленниках очутились, когда он большевиков-коммунистов вокруг своего пальца кружил-вертел и другом у них оставался, и могилу подо всеми сразу подрывал, тогда лишь я разобралась во всех его «иудиных сребрениках», во всех его «ниточках». Поняла я, да он и сам мне признался впоследствии из-за бахвальства передо мной, из-за молодчества признался, что сразу же после того как Николай его дверь изрешетил пулями, решил, что первостепенное теперь, при большевиках, — это жизнь свою отстоять, да что спрятать удалось — уберечь. Вот он и изменил своим дружкам, и продавал их, и откупался ими. Он мне однажды так и сказал:

— Бей по чужим бокам, мне не больно и не жалко.

А со мной-то тогда, в те дни, когда у нас положение застыло на одной точке, когда ни мы, ни они, — Михайло, оказалось, все нити дергал, всеми веревочками управлял. Он и научил хохловских меня не убивать, а опозорить, — сорвать с меня платок, волосы растрепать да «русалкой» по всему селу провести. Он и научил, чтоб хохловские, как только я уехала, «галку» с винтовками да с «серым селезнем» играли, чтоб бедноту распугать.

За эти четыре дня, когда у нас в селе положение установилось ни туда ни сюда, хохловские сплошными обозами

сплавляли куда-то зерно. А мы знали, а мы видели, да вот рассопливились. То всякую бабу с фунтом соли, что носили из города нам на хлеб менять, хватали, а то и обозы не видели.

Я думаю, дождик развязал нам узел, вывел и тех и других из оцепененья. Все сухо-сухо было, вот и ждалось с севом. А тут ночью хлынул дождик, на лужах пузыри, точно бы земля глаза свои выпучила на нас, заворочалось все, завозились букашки-таракашки. Солнце припекало, земля как квашня пыхтит — «дай семян». А сев и без того тот год опоздал.

Вот и загудели все: что же, да как же, век, что ль, будем так?

В полдень нарядила я собранье комбеда — хохловские стеной поперли к управе. Куда, думаю, прут ироды? Кто их наряжал? У них из всей Хохловки всего семерых мы приняли себе в комбед. Лезут прямо к крыльцу, гул, шум, матерщина. Посмотрю-посмотрю из окна — нет моей бедноты. По двое, по трое бредут куда-то, скрываются, и не вижу я никого своих. А ведь, бывало, как на пожар сбегались, по первому моему знаку, а хохловские орут у крыльца.

— Выходи сюда! Забилась... Аль понос прохватил? Эй, передние, ступай в управу, волокнн ее сюда силдм.

Сижу я, напружинилась вся. Горит во мне все, все жилы трясутся. В управе кроме меня всего лишь человек десять моих постоянных сидело. (О них надо здесь оговориться: все они вскоре потом мне и Петруше моему изменили, все поступили в большевики, с ними-то и случилось... Эх, опять забежала...)

На того посмотрю, на другого — все от меня чего-то ждут. Испугаться, вижу, никто не испугался, а так вот — ждут. Уж раз, думаю, я коноводила, мне и начинать. А наружи все тот же рев:

— Передние! Эй, кто там передние? Лезь в управу, волокнн ее сюда.

Тут я заметила, что «передних» этих нет и нет. Не лезут «передние» в управу. Стой, думаю: не лезут, значит, трусят. Значит, они трусят. Чувствую, что минута настала такая, что вся толпа трусит да под видом «передних» друг на друга свалить норовят. Вали, мол, лезь ты — передний, тебе ближе, а я подожду. Не лезть же мне через всех.

Эту минуту, думаю, упустить нельзя: прозеваешь — воду хлебаешь. Тут вдруг к нам врывается юродивая Шима. Топ-топ-топ, прямо ко мне:

— Нянька, отдай платок, отдай платок скорей!

Вспыхнула я, как вспомнила, что платок с меня сдерут, космы растреплют на позор, на осмеянье. Однако виду не показала. Говорю своим спокойно, нарочно так, словно бы не только ничуть не робею, но даже брезгую хохловскими, их угрозы презираю и рев-то их как будто только что заметила:

— Чего это так заорали? Пойти, что ль, к ним?

Тут уж не выдержал Иван Ефимович Данилов, большой сухопарый мужик, лучший печник в нашем селе. Вскочил с места и крикнул:

— Ну, все равно так все равно.

И все вскочили вслед за ним. Вася вдруг револьвер выхватил, побледнел весь от решительности, в стену уставился, словно бы он и сквозь кирпичную стену видит тех, в кого решил стрелять. (Тогда я сразу же отметила, что Вася, если решит убить, так убьет бесповоротно. Когда потом закрутился-завертелся мой шар голубой и у нас было решено убивать, я, уж не раздумывая, выбрала для этого Васю.)

Винтовок у нас в управе штук двенадцать находилось, а патронов — так дня два не перестрелять.

— Вот что, — говорю, — товарищи! Одна пойду. А вы тут пачеку держитесь.

Только было я с места двинулась, рев и крик на улице как в воду канули. Тишина сразу мертвая.

Вдруг слышу — Петрушин голос, тугой такой голос, чуть-чуть глуховатый, редко я слышала у него такой голос. Но помню, что такой голос у него установился очень давно, в отрочестве еще, в ребятах еще. Я, помню, посконь из конопли выбирала. Слышу, идет по дорожке мой Петруша с товарищами, о чем-то спорят горячо. Меня не видят в конопле. Прислушалась к ним. До того жарко они спорили, спорили-спорили, совсем близко ко мне подошли. Петруша все кричал, уверял в чем-то, а ему не верили. Смеялись. Вдруг, видимо, остановились все и замолчали. Петруша и говорит: «А вот посмотрим».

Пошли дальше, и спор весь оборвали. А мне, дуре, и в

голову не пришло, что Петрушу моего могло бы на части разнести в результате этого спора, этого его «а вот посмотрим». И я, мать, слышала, знала и не расспросила, не допыталась. (Оно, скажу мимоходом, всегда так: дети наши от нас отдельно живут, таят все от нас, прячут все от нас, кнута нашего боятся. А оттого что таят они все, прячут от нас свою душку, от этого и все беды, от этого они нам и сердце и душу разрывают, как разорвал и измял мою душу Петя).

Вскоре потом заметила я вдруг, что Петруша кулачки свои почти не разжимает при мне. Добилась я, разжала кулачки да и ахнула: вся кожа на ладонях у него до самого мяса сорвана. Пыталась-пыталась я его и лаской и угрозами — так и не добилась ничего. От постороннего узнала все, от мельника. Встретился и рассказал мне:

— Ставь, — говорит, — Прасковья, мне сороковку за сына. Спасибо, что в мельнице спал да остановил вовремя.

Оказалось, Петруша вызвался на мельничном крыле круг объехать. Ребятки-то пустили мельницу потихоньку, а канат-то у них выскользнул с приводной зубчатки.

— Что твой копец вцепился в поперечину, — говорит мельник, — руки ему никак не разжать было. Водой теплой отлил.

Тут вот у меня в памяти-то и выскочил его тугой чуть-чуть глуховатый голос, каким он тогда на дорожке сказал: «А вот посмотрим». Так же вот и теперь, в эту неразбериху горластую, замолчавшую при его появлении хохловскую толпу он крикнул:

— Разойдись, живоглоты!

Мне-то, матери-то, знавшей доподлинно, что обозначает этот его тугой и чуть-чуть глуховатый голос, родной, кровный голос (потому что хоть Петруша на Ефима походил и не был таким смуглым, как я, но голосом, но в движеньях да и станом своим высоким и тонким был вылит в меня), мне, знавшей, что обозначает моя решимость в его голосе, которую я почуяла, мне уж было известно в ту же секунду, что или Петю застрелят сейчас, или разорвут так, что мы и подоспеть не успеем.

Да и на крыльях мы лети, так не успели бы. Пулю не обгонишь! Сунулась я к окну, вдруг выстрел, другой. Перед самым окном управы лужа большая стояла от дождя. Так и обдало тогда брызгами, грязью все стекло. Я отпрянула назад, невольно к двери бросилась. Когда я выбежала на

крыльцо, хохловских уж никого не было. Разбежались все. Только пятки засверкали.

И вот стоит мой Петруша у крыльца, у самой лужи, один-одинешенек, и револьвер свой, большой кольт, рассматривает внимательно-внимательно.

Весь-то он до самого горлышка в грязи, в брызгушках, пальто его серое, весеннее, захлюстано, ботинки — что лапша пожелтели от воды. Одна только шляпа его не забрызгана, поля опущены, на глаза наехали, так что и лица не видно. По всему видно — пешком шел. Что же, думаю, случилось?

Неужели уж в городе теперь ему лошади не нашлось? Ему — главному распорядителю лошадьми в уезде? Данилов его окликнул из-за моей спины. Радостно так окликнул:

— Петр Ефимыч, какими судьбами?

Поднял Петруша голову, посмотрел на нас снизу, из-под шляпы: на меня, на Данилова, на Васю Резцова, на других — опять на меня, и печально-печально ответил:

— Здравствуйте! Здравствуй, мама!

Может быть, ученые люди, отмеченные люди, замечательные люди по-особому живут, по-своему, по-умственному, по-рассчитанному, распланированному, и, может быть, вся эта умственная, расчесанная, распланированная жизнь им за красоту-наслаждение кажется, — не знаю. Может быть, может стать. А у нас таких, у простых людей, вся жизнь из страстей да из страстишек соткана. Бьют нас — нам больно (а по-ученому, может быть, терпеть надо, а может быть, по-ученому-то и боли испытывать не полагается). Солнышко согреет — нам весело, ненастье прорвется, слякоть осенняя, дождик мелкий сквозь туман — нам тоскливо, печально (а ученому, отмеченному, может быть, самая тут радость). Посулят нам золотые горы, наобещают с три короба — мы верим, обманут нас — в другой раз хоть замерзни, в избу не пустим. Мед покажи — слюни потекут. Вот и вся наша жизнь. И все — страсти да страстишки. И все путаное-перепутаное. И все это у нас вокруг меда да брюха нашего обвито. Вся наша политика-перелитика к пупку нашему приклеена. Твой пупок да мой пупок, миллион пупков — миллион запутанных клубков, а по-ученому называется политика-перелитика, а кстати: самим дар-

мовой хлеб — дескать, политику придумываем: какому пупку какое место.

Так я тогда и решила, так я и всю революцию тогда поняла.

Обидно было, до смерти обидно было, что Петруша мой за старанья свои — за тюрьму-каторгу, за муки-мученические под конец даже лошади не удостоился, пешком, по горло заклюстанным ко мне пришел. А тут обида прошла. В доме тепло, в доме светло, в доме пироги во всю лопату, в амбаре половицы гнутся от зерна. Петруша желанный! Наплюй ты на все, не кручинься, не печалься, погляди ты своей Манечке-кралечке в ясные оченьки — на сердце потеплеет, на душе посветлеет. В них ли не зачерпнуть свое счастье до самого дна? С ней ли не изведать радости самой сладчайшей из всех радостей? Прости ты ей все, коли что есть у вас. Наплевать тебе на все! Ведь она для тебя — что якорь самый надежный будет в любую бурю, в любую заворошку. Неужели, ненаглядный мой, на веки вечные определил ты себя в рабы, в батраки к этой политике-перелитке?

Так я тогда в простоте своей и изложила опозоренному и отверженному Петруше. Слушал он меня, слушал. Покорный такой, печальный такой. Выговорила я, выдохлась я, а он мне тихонько-тихонько, почти шепотом:

— Мама... мама... а ты понимаешь, что обозначает — провокатор?

Сохнет-вянет, сохнет-вянет в поле травка. Былинка хиреет. Долу клонит ветку ветер лютый... А-ах!

Ау, Петруша, очнись, красное солнышко! Улыбнись, желанный!

В город съездит — еще больше расстроится, вернется — губы бледные дрожат. Вокруг глаз синее поле. По ночам курит... курит... курит... так и сосет папироску за папироской. В городе я развела, что по делу Петруши была назначена особая комиссия для расследования: два большевика, два левых эсера. Николай за председателя (я тогда не знала, что левые эсеры последние свои денечки дожидали).

Он-то, Николай-то, мною с риском для себя вызволенный из тюрьмы Николай, и тянул-волоклитил Петрушино дело. Сегодня — некогда, завтра — недосуг. Вот разберем,

вот обсудим и в газете опровергнем. (Я тогда впервые взяла его в подозрение).

А Петя — сохни, а Петруша — крутись. Горбится спина, блекнут очи, гаснет жизнь.

Один раз вечером собрался мой желанный, пальто надел, шляпу, бледный, распятый, а в боковой карман положил свой большой кольт и вышел из дому. У меня вдруг дыханье захватило, в ногах похолодело. Так живо, так ярко мне тотчас припомнилось — каким стоял Петруша у крыльца управы после двух выстрелов, когда он внимательно-внимательно рассматривал свой револьвер.

Бежать за ним?.. Вернуть?.. Поговорить?.. Проследить?..

Пожалуй, проследить, с глаз не спускать, в любую секундочку начеку быть...

Тенью-кошкой я кралась за ним. Каждый его шаг сосчитала, каждое его движенье запомнила. Он на Миллионный — я за ним, он к Мане Казимировой — я тут же закружила, овца круговая. К окну бы подойти, послушать, да еще только сумерки, не ахти как темно.

Не знала я тогда, не чуяла, на какое унижение перед ней пошел мой Петруша, неотпущенный у политики-перелистики крепостной. Думала, что словам моим вял, уговоров моих послушался, гадала, что любовь в сердце его окаменелом шевельнулась вновь. Лишь бы, думаю, шевельнулась, лишь бы сок в яблоньке тронулся, а там уж зацветет, забудет буйный цвет...

Часа два судили-ладили они. Слышу, дверью хлопнули, вышли оба. Притаилась я, затрепетала. Думается, зайцу — так не услышать, как слушала я.

— Руку-то, Петр Ефимович, не побрезгуете подать на прощанье? Может, уж край мой?

— Опять, Маша, опять?.. Здравствуй, снова-здорово? Бесцельно, слышишь, Маша, бесцельно. Кого ты удивишь, Маша?

— Никого не хочу дивить. Чья вина, того и ответ. Так и покажу. Определится край — значит, тому судьба.

И дверью захлопнула перед ним.

— Маша!.. Маша...

Быстро-быстро зашагал он прочь. Я за ним, за ним. Не потерять бы, из виду не потерять. Как, думаю, придет домой, тотчас же о револьвере поговорю с ним. Зачем он тебе, милый, зачем, ненаглядный? Отдай ты его мне, успокой мое сердце. Сними с меня неутолимый страх...

А так ли? А так ли? А что, да как у него еще не было мысли, чтобы прикончить себя? А я вот выскочу, а я заговорю об этом да и сама намекну ему, сама впервые подам ему эту мысль, наведу, натолкну его на эту мысль в таком его отчаянии?

Надо ли с ним об этом говорить? Могу ли, смею ли я ему об этом мысль подать да самой его в пропасть толкнуть?

Как же, как же мне быть-то? А ну как мысль эта у него уже закралась, уж созрела, да он еще медлит, еще цепляется, соломинку ищет, и я не помогу, не предотвращу? И даже наверно у него эта мысль есть, созрела. Ведь как, как он тогда у крыльца управы на револьвер смотрел? Каким голосом он сказал мне: «Здравствуй, мама».

Ой, сердце, ой, сердце расколется пополам!

А вдруг при его отчаянии, при тоске его лютой я ему сама первая мысль подам?

На гусенковом мосту исчез у меня Петруша с глаз. Туда, сюда, прислушиваюсь, — шаги ли его, сердце ли мое колотится? Задышу — не слышно ничего, дыхание удержать — сил нет. А только теперь, только две-три секунды, пока близко, может быть, шаги услышу, я опять и догоню. Не то поздно будет — отойдет, удалится да и выстрелит в себя.

Вдруг показалось — вдоль реки пошел, микеровым берегом, ветлами.

Куда же, думаю, он, куда же? Ведь там уж луг, там кусты. Зачем же ему в луга, в кусты, как не за этим? Конечно, там в кустах где-нибудь и прикончит он себя. Да ведь как же я не поняла, не почувала смертной его *думушки*, когда он на револьвер смотрел, когда он уж не своим, уж прощальным голосом сказал: «Здравствуй, мама!»

Крикнуть? Закричать? Людей всполошить? Да можно ли? Я крикну, а он тут и выстрелит в себя. Криком-то я его под руку толкну. Догнать нужно, догнать, броситься сзади, сзади руки спеленать. Петя, Петруша, не расти бы тебе большим, ворочаться бы в свивальничке, грудь бы мою ротиком тискать, за сердце зубками кусать.

Вот и луг, вот и кусты. Остановилась. Прислушалась. Нет никого... Куда понесло меня? Зачем, пустая твоя башка, слюня голову сюда ударила? Ведь... Ах, нет, вон шага... Да... Да... Он... Он... Побегу опять — встану, слушаю... И опять нет, и опять шаги. Шаги ли его? Сердце ли стучит?

Сколько времени я на лугу крутилась, обалдевая? Опомилась — в село устремилась.

«Дома он, наверно, домой пришел,— шепчу сама себе. — Домой скорей, скорей, недалеко осталось».

Вдруг слышу — выстрел. Ясно, четко слышала глухой, вроде далекий выстрел. Где? Впереди ли? Там ли, на лугу? Где? Где? Куда бежать? Куда?

А сама бегу к дому, машинально бегу. Огонь в избе повернутый, неяркий огонь. Значит — дома. Значит — и конец. Значит, и спешить уж некуда. Закрывает глаза да наугад иду, иду... медленно, еле ноги переставляю.

Тут мне вспомнилось: в начале войны помер губернатор Оболенский. Он нашим князьям был родственник очень близкий, у нас и похорониться в церковной ограде пожелал. Я тогда впервые услышала духовую музыку, похоронные трубы.

Ой как мне она в душу запала! И как теперь, в эти минуты, она у меня в памяти воскресла! Вся картина эта и вся музыка! Как еловые ветки тогда на пути гробу сыпали, так вот и чувствую сейчас, что под ногами у меня хвоя хрустит. И музыка, и трубы. Высокие вот эти — сетуют, жалуются, причитают, потом вдруг как вскрикнут: «ах!..» И низкие — большой-большой грудью, большой скорбью в тон им: «аа-ах!» И опять плачут-убиваются, сетуют, дрожат высокие голоса...

В таком положении я застала Петю: он лежал почти поперек кровати, свешиваясь головой на край и опустив до самого пола правую руку.

На полу лежала шляпа, искуренная папироска (а он никогда не бросал окурков на пол) и большой его револьвер...

Нисколько я не осуждаю Петю за то, что он надо мной в тот вечер сделал. Я вполне его, вполне понимаю, и этот его поступок во всю глубину раскрыл передо мной его мысль, его душу.

В особенности мысли его раскрылись передо мной, когда я стала потом, оставшись одна, убирать постель, когда отодвинула кровать да разыскала в углу явочку, куда его пуля прошла.

У всех у нас, по-моему, есть хотя бы маленькое желание побыть в мучениках, побыть в отверженниках, а главное, хотя бы кому-нибудь, хотя бы близкому-близкому человеку

как-то показать свое страданье, чем-то обнаружить его, перед ним проявить. Иные даже очень любят притворяться, приукрасить свое страданье, подчеркнуть его, чтобы заметили.

А у Петруши еще и вот что расположилось тогда на душе. Я окончательно уверилась, что мысль о самоубийстве возникла у него уже давно до этого выстрела, может быть, даже раньше того, как он у крыльца на револьвер смотрел. И укрепилась в нем эта мысль и съедала его исподтишка. Он противился ей, даже несомненно противился, как я учитываю по его характеру. Но втайне, в уголочке, незаметно, и сам с ней, с этой мыслью, уж столкнулся, подружился с ней потихонечку, бочком. Она и начала ему нашептывать на ушко: «Сладко-то как, спокойно-то как! Ты помнишь, однажды, маленьким ты чуть не утонул? Страшно было, страшно было, когда ты на поверхности боролся, из сил выбивался, а потом, как ко дну пошел, под водой скрылся, помнишь, как вдруг на минуточку ласково тебе стало, спокойно, тихо, об этом ты тогда еще матери часто рассказывал? Вот так же в гробу, в цветах, будешь себя чувствовать».

А какой переполох ты поднимешь, как все закрутятся, все за волосы схватятся — был Петр и нет. Стравили. Отвергли. Изгнали. Кого, кого отвергли? Молодого, беззаветного, пламенного, всем сердцем преданного борца. Красный гроб, красные знамена, у всех на сердце тоска раскаяния. Нет, нет, все это вздор, все это морока, ты никогда этого не сделаешь. Ты — борец, ты — революционер, и до такой слабости ты не опустишься, чтоб покончить. Ведь это все так себе, в шутку, потихоньку, в уголке, с тоски, с отчаяния.

А все-таки: какой же переполох поднимется! Ты никогда этого не сделаешь, но сейчас ты один в избе, лежишь на кровати, тоска у тебя, ты унижен, ты обижен — забудься. Вот, ты этого не знаешь: мать твоя, когда у ней сердце горем захлестнуло, когда Полечка умерла, — палец себе отрезала. Достань револьвер, поддержи его у виска — сразу легче будет.

Плоский, тяжелый, холодный предмет... Вот так... теперь нажми... нажми... Осторожно. Не задень висок. Помни, ты — борец. Отведи еще чуть-чуть револьвер дулом в угол, за кровать, мимо и нажми...

Так!..

Теперь свесь голову, опусти руку плетью и забудься от

своей тоски, думая, что ты на самом деле уж мертвый... Вот и окуроч, потухший, ты даже и не заметил, как он у тебя упал... вот шляпа, сейчас войдет мать...»

И я вошла. Только, Петя, желанный мой, так ли я распутала твои мысли? Так ли душу твою разобрала и не сделала ли я тебе больно? Только... Петруша, от двери до кровати, до тебя — десять шагов. И каждый шаг — год жизни моей унес.

А может быть, ты уснул только и во сне так разметался? А выстрелить-то ты, со злобы, придя от нее, выстрелил в угол?

Подошла я к тебе, руку на грудь положила, думала, сейчас ладонью мокрое почувствую. И вдруг ты мне:

— Ты что, мама!.. Ха-ха... Ты подумала, что я застрелился? Не бойся, я не отец. От меня не скоро избавишься. За что же так? За что?

Вскоре после этого случая в село к нам приехал молодой, высокий красногвардеец, по фамилии я его не запомнила, но лицо помню, лицо у него было очень рябое и все-таки очень милостивое. Он забрал Маню Казимирову и увез ее в город. Туда же уехал и мой Петруша, и месяца полтора я с ним почти не виделась. Хотя и допыталась, что Маню Казимирову в чем-то заподозрили, очень серьезно, по Петрушину делу и что положение ее совсем опасное.

А у нас в селе без Петруши своя канитель завелась. Теперь мне тайны своей держать вовсе не к чему, и я откроюсь во всем, что я впоследствии достоверно узнала.

Хотя в эту канитель и убили у нас Степку Понойникова самосудом, хоть потом и еще восьмерых хохловских кулаков забрали в город, и там они без вести канули (мне их вовсе не жалко, все они враги с пеной у рта), а виновен все же Михайло Кренев: он и начал, и придумал, и сделал в одиночку, ни с кем решительно в пай не входя. Об этом я и расскажу подробно.

Я через Петрушино отвержение откачулась от дела, и беднота моя тоже распозаться стала, да уж и делить нам было нечего: княжеское имение мы поделили беднотой еще с весны, и все уже доламывалось, донашивалось; сначала по бревну растащили всю стройку, а тут уж и кирпичики из фундамента выколачивать стали. Кулаков хохловских тоже тряхнули не так тихо.

Потом приехал какой-то хромоногий человек и записал у нас восемнадцать человек в большевики, а Ивана Ефимовича Данилова определили в коноводы вместо меня. А на Данилова и его дружков-мужиков вообще серчали слегка, так как они все гнули к большевикам.

В партию большевиков я не писалась, на Петрушу глядя, да уж и остыла я, уж интерес другой у меня завелся: связалась я ригу делать новую, лесу выхлопотала себе, а тут еще и Петруша с ума не шел. Лишь бы, думаю, вырвать его оттуда, раскрепостить его от политики — князь с княгиней заживем.

Последний азарт мой к бедноте вспыхнул в рабочую пору, перед самой заворошкой, перед тем, как мы всем полчищем, и друзья и недруги, заедино поднялись.

Предварительная канитель для нас вышла из-за раздела собственной купчей земли и раздела кулацкого посева на корню, по едокам. Когда до этого дошло, комбед в дружноту пошел, на сходки опять по тысяче человек сбегалось.

Хлеба созрели, подсохли. А уж урожай, урожай у нас выдался то лето! Нищий по полю пройдет, сроду колоса своего не имел, и тот возрадуется на чужие хлеба. Вот уж действительно уродилась рожь с оглоблю, а картошка с колесо. Солома белая, крупная, колос — в четверть, а зерно... не зерно, а жуки золотые в усатых гнездах нанизаны сидят. Ой как у всех глаза тогда разгорелись на такую рожь! А поля, поля у нас бескрайные, безмерные. По направлению к Лихачеву селу, куда шла княжеская земля, поля наши простираются на двадцать три версты, а сюда, к лесам — мужицкая, купчая, хохловская лента на десять, почитай, верст — они, хохловские, подобравшись между собой, еще давно вышли отрубом да через крестьянский банк у помещика Селиванова землю эту купили, так что их лента пролегла между нашей душевой и княжеской землей.

Вот, помню, перед самой косьбой собралась сходка. Весь день кричали, ревели, матерились, порешили завтра метать жребий по сотням, урожай на «купчей» делить: какой сотне какие нивы. Разошлись в сумерках. Нагорланились, набуянились да и позаснули. А как проснулись, так и поделили рожь. Только не в амбар, а на ветер. Только не мы, а огонь за нас. Десятин пятьсот, почитай, четверть купчего поля, за одну ночь смахнул огонь.

И до чего страшно горело! Страшней всего на свете, когда хлеб в сильный ветер на корню горит. Как от леса захватило верстах в трех от нас, так и поперло прямо на Хохловку.

Свист, треск, кажись, с корнем рвет огромные жгуты, вверх вихрем взметает такой вот огромный жгут и топором, сначала быстро, точно кто выстрелил вверх зажженным снопом, а потом медленно-медленно поднимается, и поплыла огненная искра по багровому небу. То как будто бы затухла, потемнела, а как ветер рванет ее, так вдруг вся сердцевина и вспыхнет, словно бы огрызнется вдруг своей огненной пастью. Глядишь, упала где-нибудь, глядишь, и там загорелась круговина, а там еще и еще... Опять искры, опять галки огненные, опять искры пламенные... Тут перепелка чуть не в лицо тебе ударилась, там заяц очумелый под ноги народу выскочил. А колокол мечется, плачет на колокольне. Ом-ом-ом!.. Ой... Ой... горит! Хлеб горит!

До утра горело, до света мы всем селом бельмы свои на пожар пялили, колокол слушали да на перепелок дивились, что прямо в глаза металась из огня, да зайцам, когда они под ноги нам скакали. Сунулись было в огонь некоторые, принялись было обкашивать, а через минуту сами чуть успели выскочить, — так их огнем обложило со всех сторон.

Утром уж поздно затухло, почернело поле, остыло поле — серый пепел кругом да черная гробовая земля.

Радуйся, сердце, ликуй, душа...

В обеденную пору слух прошел, что рожь поджег Степка Попойников, — тот, что «галку» с «серым селезнем» за рогатого по огородам водил.

Поднялись все, загудели, заворошились: туда толпа, сюда толпа, так и снуют, так и носятся. Вдруг кричат:

— Поймали, поймали, в управу повели!

Кажись, в одну секунду все к управе сбежались. Вывели Степку на скамейку, у нас в селе исстари заведено: вора ли, конокрада ли схватят, поджигателя — словом, когда решают самосудом, то сажают его перед расправой на церковную скамейку, на которых гробы с мертвыми ставят, и до чего быстро, словно чудом, вдруг эта скамья очутится там, где нужно. Посадят на скамью, каждый знает — значит, уж думай каждый, решай: до смерти ли, поучить ли только, искалечить ли? Как-то уж само собой, без криков, без уговору выходит: уж коли кто подойдет первым да безменом по спине хлестнет — значит на куски рви.

Вступились было за Степку наши новоиспеченные большевики. Им напрямик отрубили:

— Ступайте обедать, вы никого не видели, ничего не слышали.

Почему они ушли? Уж потому ли, что только еще организовались, потому ли, что и сами сочувствовали этому «мирскому суду» — у них надо было спросить. Только Степку Попойникова в тот день прикончили.

Да и прикончили-то как! И смешного хватили тогда и страшного. Посадили его на скамейку, руки и ноги внизу под скамейкой вожжами скрутили. Стоят молча, ждут — кто начнет. Тут вдруг Гришка Мухин с безменом подходит к нему сзади. (И как это быстро безмен в толпе очутился, как его, как свечу в церкви, из рук в руки передают, пока кто-нибудь не возьмет его окончательно.) Посмотрел Гришка Мухин на мужиков, у самого от решимости глаза на лоб лезут, да как хватит Степку вдоль хребтины. Дивись человеческой силе: ткнулся Степка подбородком в скамью (он сидел согнувшись — верхом) да как рванется всем телом, так вожжи, как бритвой, перерезал. Встал, словно окаменел. Только кровь из подбородка закапала. Крупными такими каплями, с вишню каждая... Тут кто-то закричал:

— Петлю да на мельницу, на крылья...

Заворочалась толпа, схватили Степку, поволокли к ветрянке, а по дороге из оборванных вожжей уж петлю сделали. Поставили ларня у крыла, петлю привязали. Гришка Мухин хлопочет, чтоб не сорвалось, мертвым узлом к поперечине прихлестнул. Отошли мельницу на ветер заводить, пускать, тут и случилось смешное.

Только, конечно, говорится, что смешное, потому только смешное, что вдруг заржали все, заржали потому, что вдруг увидели, что синие тужбинные портки до самых колен намокли и почернели. Смешное, пожалуй, еще и потому, что чуть было не изменилась поэтому Степкина судьба, так как всем вдруг захотелось поизмываться над ним, поистязать его, чтоб досыта насытиться слепым зверским нутром.

Отвязали Степку от крыла да так, на петле прямо, поволокли — куда и сами не знают. Вроде как малого ребенка с заслонкой по избе водят прямо с кровати, чтоб он в постельке не мочился.

Таскали-таскали его, мытарилась-мытарилась над ним и вдруг очутились все за селом, на погорелом поле. Тут вдруг и смех и рев стихли.

Черное поле, серый пепел... Где же рожь, где же хлеб? Как маленькие обгорелые детские трупики, лежат на черной земле колосья.

В минуту превратился мой Степка в грязную кровавую кашицу.

А поджег, заявляю, Михайло Кренив, чтоб в суматохе власть новую к гибели подтолкнуть.

Уж, видно, не судьба Степке Попойникову. Поволочись с ним мужики еще часик — и, может быть, жив остался. Не больше как через час в село к нам приехал отряд красногвардейцев.

В городе уже стало известно, что у нас подожгли хлеб на корню. А вслед за ними примчался мой Петруша с Николаем.

Вот этот отряд-то и насторожил нас впервые. Вспомнились мне тогда слова Михайлы Кренива: «Не показывай чужим дорогу к нам в село». Да уж напрямик скажу: с этого их приезда и началась наша отчаянная и страшная заворощка. Мужики вдруг все сразу наершились, как только Николай объявил им, что наше село обязано вывезти десять тысяч пудов хлеба. Горлачи сразу так и заорали: помазали, дескать, нас свободой по губам. Мы ведь до революции большей частью сбоку видели городскую жизнь, на улице. А на улице — напудренные да нафарфоренные, в шляпках да в мехах, ни работы, ни заботы. Так ведь в душе, почитай, каждый из нас, мужиков, и полагал, что кто в городе живет, тот у Христа за пазухой.

Да и то сказать — как мне тогда думалось, — раз свобода, так надо ее и вертеть в такую сторону, чтоб трудовые люди — крестьяне ли, фабричные ли — остались. А уж трудовому человеку с трудовым — свих совсем не надо бы. Они и сами найдут, как сосвататься, как и чем торговаться-обменяться.

От власти новой только и требовалось, чтоб безобразия да беззакония прекратить, чтоб распущенность всякую унять да грабителей покарать.

Десять тысяч пудов! На погорельцев, что ли? Так мы же погорельцы и есть. Легко сказать — десять тысяч пудов!

А чего, спрашивается, нам из города за этот хлеб наш посулят?

— Добровольно выделим — кто сколько в силах.

— Давайте добровольно.

А добровольно только и собрали шестьсот пудов ржи да восемнадцать пудов проса. С тем отряд и уехал. Но мне из того приезда запомнился разговор Николая с моим Петрушей у нас в доме, да и весь тот вечер достопамятен мне.

Тогда уж окончательно выяснилось, что большевики оттолкнули левых эсеров от власти. Петруша мой больше отмащивался, а говорил Николай. Тут же я узнала, что в газетах опровергли Петрушин позор, объявили его невиновным и чистым, как агнец. Петруша, однако, как будто совсем не обрадовался этому опровержению. Днем, когда шумели на сходке из-за десяти тысяч пудов хлеба, он не вступился ни словечком. Все думал о чем-то, все соображал, и только когда мужики особенно понасядут на Николая, Петя мой нет-нет да улыбнется, потихоньку, украдкой.

Только, помнится, пару слов и бросил за весь день на сходке. Это как раз в то время, когда на крыльцо управы поднялся один красногвардеец с винтовкой в руках и стал говорить речь. Впрочем, давая же это была речь? Угроза сплошная, запугивание, застрашивание. И говорил-то он почти не по-нашему. Толстомордый такой, побагровел весь от злости, от крику:

— Жито не дадите? Та ж мы с глотки у вас вырвем! Та ж ось вона, винтовка!

Тут Петруша вставил:

— Винтовка — о двух концах.

А толстомордый заметил, кто крикнул, да ему в ответ:

— Так я ж и говорю, що в оба конца ты зловишь!

Петруша тут нарочно громко рассмеялся, так что всей сходке понятно стало, сколь мы боимся его винтовки. Все и заржали, загоготали. Толстомордый еще что-то кричал, да Николай круто осадил его и столкнул с крыльца. (Эта его угроза и эти Петрушины слова, как впоследствии оказалось, сделались самым первым и самым главным узлом в нашей заворошке. Проговорился толстомордый, а мужики-то и сообразили все.)

Вечером, дома за чаем, я заметила, что Петруша с таким презреньем и с такой ненавистью смотрит на Николая, что мне сразу же стало боязно за Николая.

А главное, я заметила, что, когда Петруша разделся и повесил свое пальто, он не сразу от него отошел, а все чего-то ждал и выбрал-таки минутку: когда Николай пошел в чулан мыть руки, Петруша выдернул свой револьвер из пальто и сунул его в правый карман пиджака, в котором тут же, не вымыв рук, сел за стол.

Николай все гудит, все гогочет, все рассказывает. Потом принялся убеждать Петрушу переписаться от левых эсеров к ним, в большевики.

— С кем ты связался? — гудел он. — Теперь вот с левыми, потом с крайне левыми, а затем, затем через крайне левыми? Ни эсер, ни большевик. Ой, Петруша, а какой большевик из тебя получился бы, если б мозги тебе заправить! А ты вот теперь и болтаешься, как дерьмо в проруби...

Так и вздрогнул мой Петруша от этих его слов, словно ужаленный. Да и Николай заметил это. Он держал полное блюдечко в обеих руках, опираясь локтями на стол. Заметив волнение Петруши, он поставил блюдечко на стол, в свою очередь, пристально посмотрел на Петю, потом спросил:

— Ты, Петруха, все никак о себе не забудешь?

Тут вступилась и я. Не выдержала, да и как выдержать!

— Как же, как же забыть-то вам? Да разве можно такой позор простить вам когда-нибудь?

Тут и Петя вставил:

— Для меня одно ясно: вся эта история с провокацией подстроена.

Умница Петя, Петруша! Как это он ловко угадал! Вот это и я хотела тоже высказать Николаю напрямик, да только не нашлась сразу-то.

Однако Николай от этих слов и глазом не моргнул и только заржал опять.

— Ха-ха-ха... какой вздор! Брось глупости, Петруха, тут и без подстройки даже очень ловко получилось. Уж очень вы, эсеры, кричите насчет чести революционера. Как это мы все рьяно взялись-то. Вам и на революцию наплевать, лишь бы «честь» соблюсти. И проституточку эту раскопали. Вот бы вы так дружно насчет хлебца рабочим... Вот это честь!

— Какую проституточку? — перебил его вдруг Петя.

— Да вот эту... списки-то у тебя свистнула... Казимирову. Ведь ее желтым билетом в охранке припугнули.

— Машу?... — крикнул Петруша.

— Машу, Сашу или Канашу — тебе видней.

За Петрушей я следила — глаз не спускала. Он вдруг сунул руку в карман пиджака и как будто даже успокоился совсем. Только неподвижный какой-то сделался, точно окаменел, и с Николая глаз не спускал.

Света белого я не взвидела в ту минуту. Уж очень неожиданно свалилась на меня их смертельная вражда. Разобраться-то я не могла сразу: были друзья-товарищи, были заодно против царя, а тут вдруг, чувствую, последняя Николая минутка.

Сидят друг против друга. Петя горит весь. А Николай как

назло насмешливо так глаза на него скосил и спрашивает тихо:

— Ты что, Петр, глаза так на меня пялишь?

— Ничего, — отвечает Петр, — я просто думаю, что в интересах своей партии убраться лидера другой партии — любимым средством хорошо.

Отвечает он своим тугим, чуть-чуть глуховатым голосом. Понял ли тот голос Николай, почуял ли он свой край — не знаю. Но я-то, я-то уж наверняка знала, что отжил мой разудалый, развеселый молодец Николай. Да и намек я Петрушин поняла: любимым средством хорошо убраться лидера чужой партии.

Уж сказала я, что не разобрать мне было тогда, как это так два друга задушевных, мой Петя да Николай, два брата родных — вдруг... Как же мне-то быть? Мне-то что делать?

Тут вижу мой Петр чуть-чуть локоть назад повел, ближе к своему боку поприжал и вроде как бы даже в левую сторону немного отклонился. Едва-едва заметно. Да и Николай, видимо, заподозрил что-то недоброе. Он внезапно пододвинул к себе полный стакан горячего чаю, взял его с блюдецка правой рукой и поднял ко рту. Однако не отхлебнул от него, а держал так, чуть-чуть наклонив в сторону Петруши, чтобы на случай удобнее было всплеснуть ему в глаза, и опять спрашивает:

— Ты что, Петя, глаза так пялишь на меня?

Тут я ринулась к ним.

— Петя, — говорю, — ты руки-то не мыл? Я и забыла тебе полить. Пойдем, соколик, пойдем, родненький, я полью тебе. Пойдем, золотко мое. Почесуха, — говорю, — у нас в село зашла. Почитай, на каждом почесуха.

Петя посмотрел на меня. Растерянный вдруг сделался, бледный, не сообразит, что сказать. Руки вынул из-под стола, посмотрел-посмотрел на них, потом на меня и вдруг как крикнет:

— Поди ты к черту со своей почесухой!

И тут же двери распахнулись, я вижу — прямо к столу прется чудовище морское, бородатое — Мысягин-Клемашев. Рычит хриплым своим басом. Труба трубой.

— Фью-фью... Что за шум, а драки нет? А-а... Вашу милость тут фью-фью-фью!

Смотрю, из-за этого чудища еще какой-то лезет, в зипунице отрепанном, кургузенький такой, с чемоданчиком. Вгля-

дываюсь — батюшки-матушки, гость неожиданный, кенарь заморский, «барин черный» — Шульц-младший.

В тот вечер и связалась моя деревенская долюшка с роковой эсеровской судьбинушкой.

— Здорово, большевик! — рывкнул Мысягин-Клемашев.

— Здорово, Мысягин!

Только Николай и успел протянуть ему руку, как Мысягин рванет его со стула. Я и опомниться не успела, как медведь этот подмял под себя Николая и, подсунув обе руки под мышки, положил свои эти медвежьи лапищи ему на затылок и всем своим грузом навалился на него, так что у Николая лишь косточки хрустнули. А Мысягин-Клемашев только пыхтит, словно в шутку борьбу затеял.

— Это, — говорит, — по-французски «двойной нельсон» называется. Обыщи его, Шульц. Петька, давай, чертяга, веревку.

Через минуту Николая они скрутили по рукам и ногам и наглухо завязали полотенцем рот. Как ребенка, отнес его Мысягин-Клемашев ко мне на кровать, положил, потом хлопал по голове и зарычал. Добродушный опять такой стал:

— Ну что ж, Николака, лежи малость. Жалко, парень, тебя, но что делать? Революция — не свадьба, всем не угодишь.

Тут я воочию убедилась, какой злой и какой оборотистый этот Шульц-младший. Сначала он принялся настаивать, чтоб Николая тотчас же прикончить и зарыть где-нибудь. Он даже осведомился у меня — далеко ли кладбище и найдутся ли человека два повернее, чтоб могилу вырыть. А глаза, глаза у него в то время какие были! Черные, катучие! Брови к самым вискам в струнку вытянулись. Но Петруша мой и Мысягин-Клемашев сдали. Особенно сдал Петруша после своего на Николая гнева.

Потом утихомирился и Шульц-младший. За стол сел, целая канцелярия оказалась у него в чемоданчике: печати, штемпеля, бумаги разного формата и с разными заголовками, флакончики, пузырьчики какие-то.

Вот жулик! Истинный жулик! Так мне не понравилось, что связались с ним Петруша и Мысягин-Клемашев. Вмиг он настроил туда — бумажку, сюда — документ, и в уезд наш кому-то настроил «рукой» Николая, что он, дескать, Николай, поехал в соседний К-ский уезд по очень важному и срочному делу.

Тут и решено было, что и Мысягин-Клемашев, и Петя с

документами Николая, с бумагами, которые изготовил Шульц, сейчас же пойдут на наш полустанок, а оттуда в соседний город К-ов. Как я поняла, они к-ским властям покажут себя за большевиков и будут просить позволения набрать у них по селам в свое распоряжение отряд в сто — сто пятьдесят человек и оружие, для того якобы, что им у себя не удалось отвергнуть левых эсеров от власти и что при их известном везде засилье в нашем уезде большевикам не обойтись без оружия.

Одного и тогда я не поняла, да и теперь не разберусь, — зачем тогда Шульц-младший изготовил бумажку, в которой наш уездный Совет просил К-ский отпустить, вроде как бы заимообразно, пятьсот кос для уборки хлеба? Боялись ли они, что их заподозрят и пристанут к ним, условлено ли было то у них с к-скими левыми эсерами, так и не знаю, что показать.

Условились также они, что Шульц-младший отправит Николая в село Зимарово к какому-то Илье Евдокимовичу.

Только я-то из их переговоров об этом поняла, что Николая они отдадут в полную Шульца волю и сами сторонятся учинить над ним расправу. Наказали они еще Шульцу-младшему ездить по селам и подбивать крестьян на восстание против большевиков, разжигать их, с тем, что большевики, дескать, хлеб отбирают, что большевики крестьян от власти мало-помалу оттолкнули, что с миром они обманули, так как в то время у нас в уезде была уже объявлена мобилизация 1897 и 1898 годов.

Собственноручно я тогда отдала этому Шульцу Петины суконные штаны, так как он в рваненьких оказался, собственноручно запрягла «младшему» крениевского рысака; уложили они на подводу Николая, и Шульц скрылся.

И Михайло Крениев простился в тот вечер со своим рыском — загнал ли его Шульц своими объездами-митингами по селам, продал ли, слопал ли — только будь он, этот Шульц-младший, проклят во веки веков.

Повезла я Петю и Мысягина-Клемашева на полустанок и всю дорогу, всю дорогу-дороженьку думала, с мыслями собиралась, гадала хоть минутку одну-разъединую заполучить, чтобы наедине поговорить с Петей, чтоб хоть душу успокоить, надежду на их успех получить, просветинку увидеть в этих неожиданных мрачных сумерках. Да так и не залучила. Едва успели мы. Я лошадь стала было привязывать, чтоб проводить его, а он мне:

— Зачем? Зачем ты? Поезжай обратно сейчас же.

Ах!.. Значит, надо так!

Отъехала я с полверсты, остановилась в поле, слышу — поезд гремит. Вот так и кажется, что этот невидимый чугунный грохот и лягз, с одним тусклым глазом, прямо на меня прет.

Да уж и лучше бы! Туда и конец!

Долго стоял на нашем полустанке этот слепой поезд... Потом захрустел, тронулся... темный, невидимый, кое-где тусклый огонек мелькнет. То ли огонек, то ли искры под колесами. Должно быть, колесом этим, чугунным, замотало из моего сердца самую тонкую, самую большую нить и потянуло... и тянет, и тянет, и наматывает эту мою кровяную жилку на ось, на пыль, на мазут...

Не простился, не утешил, не обнадежил...

Болезный мой сын! Какими ласками приголубила тебя эта революция, что забыл ты родную мать? Что ты стал у нее, у революции, вековечным крепостным рабом?

IV

Теперь я расскажу всю историю Мани Казимировой. Раскрою ее участь, ее долю в моей и нашей судьбе. Уж даже тем одним часть ее в моей судьбине велика, что беспрестанно она бредила со всех сторон мою истерзанную душу. Сладко ли, горько ли жилось ей с отцом на заводе, находила она утеху себе и сладость в том, что каждый измывался над ней, как ему вздумается, только я-то с тех пор, как ее этапным порядком к нам в село, на ее родину, выслали, с тех пор, как познакомилась с ней и узел свой через Петю, а потом через Васю Резцова с ней запутала, я-то как раз и приняла ее за обратное: за непорочную почла я ее и против непорочности ее, против ее юности, против песенок ее о «чудном садике над рекой» и «сиреньках душистых» я выставила грешное свое бабье искушенье, горячее свое дыханье, вдовый свой пыл. Так я уж и обдумала, что лишь успокоится все, лишь вся мать отседется на дно, так я тотчас окончательно раскину свои сети и отведу, отвлеку Васю с Петрушиной дороги к Мане...

А тут уж и узнала, что она не что иное, как девка гулящая, рвань этапная, Петрушина предательница, прокаженная. От злости я тогда на нее взвыла, от ненависти затряслась, оттого, что самое бесценное мое, моего Петруши любовь к ней, чистую его душу, непорочную, има его незапятнанное так осквернила она окаянной своей скверной, так залапала она своими нечистыми, скользкими руками.

Вдруг заметила я тогда за собой, что, чем больше я ее ненавижу, чем больше я на нее злобу в сердце своем разжигаю, тем больше тянет меня к ней, тем крепче она привораживает меня к себе.

Как раз в то время, когда ее забрали в город, когда она там томилась, я и вспомнила про зеленую свою склянку, про бутылочный осколок, через который глядела на свет божий, вспоминая ее глаза, да в то время и выковыряла внутренность из барышнинных часиков и вместо них поместила этот осколок да и повесила на шею, ровно ладанку.

Ненавидела я ее, презирала ее, а когда ее вскоре отпустили на волю и когда она опять объявилась у нас, я первая обрадовалась, я повеселела, хотя, повторяю, ненавидела ее и всякого ей желала зла. Пусть ей — зло, пусть ей — самые беспощадные муки, самое позорное унижение, только лишь бы при мне все, пусть на глазах у меня совершится все это ее унижение, исполнятся все ее муки-терзания. Так, чтоб я сама участвовала в этих муках, чтоб сама же я их и причинила, растравляла бы и собственноручно бы душу ее, исхлестанную и окровавленную, присыпала бы самой солкой, самой едущей солью.

И мучила бы, и растравляла бы ее муки, и сама первая лечила бы и исцеляла бы ее эти раны.

Знать, уж только через злобу свою я ее возненавидела, а душой-то по-прежнему считала ее непорочной, ее, залапанную всю с ног до головы. Или уж портрет свой я в ней угадала, себя учуяла, себя, погаными ручищами излапанную по-неволе.

Везло ли мне в жизни? Ни в чем. Ни в чем никогда и не повезет нам, таким, на проклятом нашем полозу.

Только вот тут, с Маней, мне повезло. Так я здесь наслаждалась, наторжествовалась до конца, да и намучилась по самое горло.

Так я тогда поняла жизнь: большие люди, отмеченные люди живут, как они уверяют в своих книгах и газетах, по-большому, по-размеченному, по порядку и даже по часам, а нам, таким вот незаметненьким, только и остается, что завидовать на их сладкую жизнь, потому что не живем мы в нашем деревенском обитании, а кишим. Как червяки в болоте, задыхаемся, хрипим да на поверхность к солнышку да к ветерку свежему норовим прорваться, да так и задыхаемся, не проклюнув этой пленки, сквозь которую и мы, незаметненькие и маленькие люди, видим, как оно, солнышко, светит, как

он, свежий ветерок, травку колышет, цветики степные голубые качает, птичек на ветке убаюкивает.

Ни отдушины, ни ветерка нам, ни солнышка. Одно-то у нас кишеньке, одна лишь путаница. Ни размерить нам самим, ни рассчитать, ни назначить. Все-то для нас предопределено, все-то нам предназначено, предназначено все не нами самими, все за нас, все-то нам указы да приказы.

А мы — слепые, мы — куколки червячки в болоте, под пленкой: что тебе завтра будет, чем тебя завтра окрестят, как назовут — все не в нашей воле. Ну, мудро ли нам на нашем полозу до конца своей жизни верить в бога, молиться идолам, чтить попа и тащить ему последнюю курицу, раз мы в путанице кишим, раз нам одного лишь и ждать осталось в этой путанице — непредвиденного, неизвестного? Вот к этому непредвиденному мы и приспосабливаем животы наши, и скарб наш, и ослов наших, и волов наших. По этой непредвиденной одежке и протягиваем мы свои ножки. Определят нам детскую душегрейку, а скажут — тулуп, мы и ножки свои, и душу свою, и помыслы наши приспосабливаем закатать в этакий тулуп.

Когда я одному литератору признавалась, как я в то время жизнь нашу разумела, он мне сказал, что я верно раскрываю (так он и выразился: «раскрываю») наше деревенское, крестьянское «нутро», но потихоньку шукнул, чтоб я об этом не писала в моей хронике. А я решила не послушать его, а наоборот — «раскрыть» захотела, раскрыться до конца.

Да и как же мне не «раскрыть», не разоблачить это свое «нутро», если я того лишь хочу, затем лишь и хронику свою затеяла, чтоб отмеченные, большие люди учли все это наше нутро, измерили бы его вдоль и поперек да так бы все распланивали это нутро, так бы его направили, — где кнутом, где овсом, — чтоб предотвратить, предупредить те бесчинства, то убийство, то кровопролитие, которые через это мое (а стало быть, и наше) нутро приключились!

Да как же можно, чтоб шить, положим, штаны и не знать, из чего ты их шьешь: из кожи иль из телячьей рожи?

Вот потому я и решилась в своей хронике «раскрыть», что в «путанице» нашей «непредвиденным» беременностью Мани Казимировой от Васи послужила поводом, сигналом к тому страшному и всеобщему нашему «пожару». Как ни тянуло меня к ней, как ни следила я за ней, а все-таки я, наверно, в последних из села узнала, что носит она крайние деньки.

Эту беременность ее заметило почему-то все общество,

Заметило с каким-то особым рвением все общество, сосредоточилось на этом обстоятельстве, насторожилось и даже увлеклось им. То ли потому, что редкая редкость в те дни была беременная невенчанная девка, то ли — и всего скорей — потому, что уж смута наша назревала и назревала и осталось лишь ждать подходящего случая, такого подталкивающего повода.

Внимание это, всеобщее, начало привлекаться еще в самом начале лета, когда молодежь еще догуливала «русалки». Что Маня Казимилова брюхата, раньше всех подметил наш немой — Иван Новиков, который тогда был выпущен из тюрьмы. Заметил он это как раз во время гулянья, точнее сказать, во время кадрили, на которые ее почему-то вытасил Вася.

Знаками, урчаньем, ворочаньем своих кругленьких глаз, которые у него сидели в припухлых веках, как в мягком гнездышке, он обратил внимание всех присутствующих на Манину пузатость, тогда уж довольно заметную. (Как раз я замечу, что странно для меня и посейчас, почему Вася втянул ее тогда танцевать кадрили?)

Тут же и началось шушуканье, послышались какие-то намекающие смешки, все пары перестали вдруг танцевать, оставив Маню и Васю в одиночном «риле». Все сразу поняли, и Вася понял, и Маня поняла. Она пыталась было тоже сойти с круга, но Васю вдруг охватило какое-то молодечество, какое-то озорство: он начал еще бойчее отстукивать дробь, крутить еще сильнее Маню, сбросил с себя быстрым ударом военную фуражку, которая до сих пор была надвинута ему на самые глаза, и, наконец, когда гармонист, сконфузившись за Маню, хотел было бросить игру, Вася крикнул ему что-то — и заливчатское и угрожающее.

Гармонист тоже повеселел, точно бы с него сняли вину, вдарил еще лише, с необыкновенным жаром и подъемом перекинулся на высокие и звонкие лады: он тоже принялся ухмыляться, подмигивать и даже находил моментик, чтобы подозвать подмаргиваньем кого-нибудь из тесно сплотившегося круга и что-то ему шукнуть на ушко.

Особенно торжествовал и бесновался немой. Он непрерывно мычал, глядя на Маню, когда она стояла, ожидая, пока Вася закончит дробь и начнет кружить ее, и делал Васе намекающие знаки, хлопая себя ладонью по животу, показывая, что я, дескать, первый заметил это и все доложил.

С этого раза к тому же немой вдруг приобрел над Маней какую-то особенную власть, которой Вася Резцов явно похро-

вительствовал. Маня стала бояться немного пуще огня, а он этим пользовался и то и дело тащил ее танцевать кадрили с собой, если Вася отходил закурить. А закуривать Вася стал с каждой гулянкой все чаще и чаще, а тут учили все это его закуриванье. К Мане полезли все наперебой, все тащили ее на круг, отплясывали с ней особенно жарко и ухмылялись.

Эта пляска вскоре так прославилась, что ребятишки, за- слышав на выгоне гармонь, тотчас же кричали: «Манька пляшет!» — и как очумелые летели на луг. (Впоследствии я установила, что Маня как-то даже привыкла к такому надруганью и даже нашла в нем утешенье. К тому же она стала нарочно таскать все очень тяжелое, чтоб от пляски и от этого тяжелого надорваться и, может быть, беременность пройдет кровями.)

Издевательство еще и потому заразило всех, что Маня Казиминова была как бы не наша, а, как у нас зовут городских, из «легалых». Кстати, тут же понеслись слухи и о ее «поша- тушей» (так и звали) жизни в городе.

Про все это узнала и Васина семья. И тогда Пелагея — его мать — покаялась, что в тот день, когда «шлюху» приведут к ней в дом, она удавится на связи. Через людей я даже допыталась о подробностях этой Пелагеиной угрозы, — если люди соврали, то и я вру, — будто она к этому семейному разговору приготовилась заранее, а как только, наконец, он зашел, она все высказала Васе, все, что накопело, выложила и тут же достала вдруг из-за божницы новый льняной череседельник с приготовленной петлей и, молча показав его сыну, перекрестилась на иконы и положила веревку обратно в божницу.

Ей, Пелагее, все сочувствовали вначале, но вскоре все переменялось: дело в том, что тут же стало известно, будто новая власть объявила свободу и даже чуть ли не коммуны в таких делах.

С того дня и началось всеобщее возмущение на Резцовых, всесельское недовольство и даже озлобленность. Пелагее стали хаять, лаять и всячески поносить, всячески позорить, а Манию начали привечать, выказывать ей сочувствие и жалость, при этом так все это выказывалось, в таких унижительных и оскорбительных словах, что Маня всячески старалась избегать встреч со всеми и чуть свет скрывалась из избы, куда к ней ни свет ни заря приходили под каким-нибудь благовидным предлогом бабы и судачили каждая по-своему.

Вот до чего овладело всеми это событие Манино, что даже и в самую рабочую пору, в самую уборку хлебов, в пе-

редышки, мужики ходили друг к другу на полосы, толковали, разговаривали, а некоторые даже грозились вызвать Васю на сходку и там заставить его венчаньем «прикрыть грех».

Странно мне даже и теперь, почему наши мужики тогда почти не касались десяти тысяч пудов хлеба, которые «чуть было не содрали с нас», забыли о новой мобилизации, о которой уж ходили тогда настойчивые слухи. Об этом, я заметила, говорили почему-то шепотом, очень коротко, очень мало, словно бы все уж что-то предчувствовали и все боялись своими громкими об этом разговорами накликать на себя эту беду. Шепотом, в то время как про Маню да про Резцовых кричали криком, чтоб привлечь внимание, чтоб собрать народ.

А последнее время, перед самой свадьбой Маниной, перед самой заворошкой, особенно все стали наседать на Резцовых, потому что, дескать, доподлинно стало известно, что новая, большевистская власть объявила коммуну и мужьям, и женам, и ребятам, и девочкам, — кто, мол, кого сгреб, тот того и хлоп.

Наконец от Резцовых потребовали немедленной свадьбы, неотложного венчанья, лишь только прознали, что Пелагея будто съездила в город и выправила бумагу о свободе женитьбы.

Была ли бумага, не было ли у ней, — только мужики в открытую пригрозили Резцовым написать на них «отказной приговор» к выселению. И они сдались. Свадьбу назначили тут же после уборки. Как раз, помню, за день ли, за два перед этой свадьбой к нам опять приехал отряд по продовольствию и объявил, что наложено на наше село уж не десять тысяч пудов, а все двадцать тысяч, причитая и новый урожай. Тут же стало известно, что не только о добровольности не может быть и речи, но что отряд будет даже «сшибать замки»...

«Снесла курочка яичко. Дед бил — не разбил, баба била — не разбила, внучка с Жучкой — не разбила, а мышка бежала, хвостиком яичко задела, — оно и лопнуло...»

Так и нам, снесла «красная курочка» красное яичко, нам его ни топором рассечь, ни цепом не размолотить, ни лаптями не раздавить, а вот Маня бежала, хвостиком задела, — оно и треснуло. Таким вот краснобайством кулацким нас и заманивало хохловское кулачье в свою лавочку.

Во все двери, во все щели, во все уши полезли тогда у нас кулацкие слухи: и хлеб заберут, и скот уведут, и коммуну объявят, и война опять, — мобилизацию вывесили на часовне в тот же день, как прибыл отряд с пулеметом. Одним словом, треснуло наше яичко. Порадовались, поиграли маленько им,

да и назад подай, да свое придай, а известно, у собаки корм да у мужика двор — не тронь.

Еще оговорюсь: мне мои советчики литераторы заявили, что уж очень под одну гребенку я всю деревню остригла, ужели, дескать, всем селом в одну дудку вдруг загудели?

Литераторы мои, головушки садовые... да, загудели. И как, скажем, мне было не гудеть? Ну, да я в особый счет. А тут очень даже в одну дудку загудели, потому что, кто не хотел гудеть, тот поневоле молчал, того силой заставили молчать. А большая часть по темноте своей поддалась кулацким слухам, поверила, что большевики, дескать, с хитростью, с камнем за пазухой к нам идут. Вот и выходит, что дудка-то гудит в один голос. Да и хохловские богатеи наши вдруг наверху оказались, вдруг восторжествовали, хотя их ударил отряд в первую голову, с них и начал «сшибать замки». Они лишь посмеиваются:

— Мы-то свой хлеб не прятали, а они-то еще от нас все позарыли, похоронили.

И даже открылось потом, когда утихомирили нас, — о чем Михайло Крнев, как я знаю, сообщил тогдашнему отряду, — открылось, говорю, в поле целое «ржаное кладбище» (у нас теперь это место зовут «ржаное кладбище»). Лишь посмеиваются богатеи на нас:

— Нас уж ободрали, не страшно, а вот вас-то только начинают.

Словом, пулемет-то прикатили про кулаков, а нас-то всех еще и тогда они подстрекнули, что деревне — конец.

А тут еще мобилизация, а тут же Манина свадьба — против коммуны жен, а Васю и самого в солдаты опять, а на Манину свадьбу, как на «малашкину», столько накурили самогонки, что хоть купайся.

Утром, когда молодые собрались в церковь, «дружки», жениховы поезжане, умудрились напоить самогонным затором лошадь, на которой поехала Маня. Уж ясно, что их нашлакала Пелагея Резцова, Васина мать.

Лошадь-то гладкая, лошадь-то и без того буйная, потная, пена изо рта клочьями висит, глаза кровью налились. На выгон кое-как выехали да тут ей и дали волю. И в дыбынки взлетит, и помчит, и заржет-завизжит. Народ сбежался, крик, шум, рев... Продотрядники наскочили, стрельбу зачем-то подняли... А жених в церкви... а попы ждут-пождут... А Маню по лугу пьяная лошадь носит. Маню всем селом ловят, Маню свистом да улюлюканьем да стрельбой венчают.

А она сидит, вцепилась одной рукой, а из другой иконку, что сваха уронила, не выпускает, к своей груди ее прижала, все-то на ней растрепано, все-то растерзано, бледная, мертвая... Ай, как я все тогда ладилась как можно поближе ее увидеть, глаза ее посмотреть! Едва-едва доставили в церковь эту невесту невестною...

А мужики и продотрядники как собрались стеной, так и не расходились до темной ночи, до первого нашего убийства.

У жениха отпировали-откомпанствовались, к невесте уж в сумерки тронулись. А изба у Казимировых — что собачья конура. Столы на улице накрыли. А как стемнело, вдруг солому на улице зажгли, а тут же какие-то озорники, Манины измыватели (говорили, что немой это надумал), умудрились бочку с дегтем зарыть в землю да запалить.

Тут вдруг продотряда начальник пронюхал, что все это — озорство, все это в поруганье, в униженье Манино подстраивается. Он и вмешайся в это чужое дело. Сначала он было по-хорошему, по-тихому. А я все за Васей да за Маней пристально приглядывала. Нарочно наперед, к самым столам, пролезла да стою прямо против них. Как-то, думаю, моргнет он передо мной («Уж и моя ли кралячка!»), как-то она реснички свои сомкнет? Замечаю только, что Вася все пьет, все хлещет, вот-вот, думаю, все вспыхнет в нем...

Может быть, и обошлось бы все, глядишь бы, иное все сложилось, если бы Пелагея Резцова, которая сама не своя от злобы сидела, вдруг не надумала вконец обесчестить передо всей толпой свою молодую. Она вдруг вылезла из-за стола, вылезла раньше времени, так что сразу же это бросилось всем в глаза и даже гул тотчас приутих, зашла не торопясь, но очень решительно — эту ее решительность тоже все подметили — против того места, где сидели молодые, и крикнула, чтоб играл гармонист. Гармонист ударил барыню с переливом и на очень заглушенных ладах, потом выяснилось, что он тоже был заранее намуштрован Пелагеей. А Пелагея прибодрилась (очень долго она тогда прибодрялась, точно ждала, когда все окончательно затихнет) и, помахивая платочком, зачала притоптывать, приплясывать слегка, поворачиваясь из стороны в сторону и вовсе не глядя на молодых.

Все ждали. Все очень даже чего-то ждали, внешнеючую ждали какого-то события. И все сразу поняли, что теперь, именно теперь, когда сваха раньше срока покинула стол и плясать пошла, теперь начнется...

И началось. Раз повернулась сваха, два сарафанами покру-

тила и ляпнула прибаутку — гармонист тотчас, как она остановилась для прибаутки, почти совсем затих, лишь попискивал.

Голос у Пелагеи!... Совесть у ней!.. Даже ногой притопнула, в ладошки прилепнула...

Как у нашей молодой
Каждый день все на ладонь
Прибавля-ается,
Прибавля-ается...

Вот тут-то и задела мышка хвостиком яичко...

Смолчать бы начальнику продотряда, уступить бы, а он как прослушал эту Пелагеину прибаутку, так ровно зверь на нее зарычал: за что же, дескать, мытарство над бедняжкой?

Этого только и не хватало нашим! Того только и надо было! Как взвизгнет кто-то в толпе:

— Коммуну ведут!..

Замерло все. Потом вдруг ахнули все, Вася Резцов в мгновение ока перескочил через стол. Так быстро, что я поразилась, когда он успел прихватить толстую вершковую доску с ручкой, похожую на валец, на которой была накрошена баранина.

— Какое имеешь право так на мою мать?! — крикнул он начальнику.

Да уж тут же и вожжи лопнули. Начальник продотряда и повернуться к нему не успел. Вася как саданет его доской по затылку, тот и рухнул...

Минута ли промелькнула, десять ли, — я за ревом и выстрелов не слышала, да и не видела ничего в темноте. Только, как потом оказалось, хохловские незаметно всех продотрядников разыскали в толпе и по трое — по четверо стояли сзади них, ожидая случая. Весь отряд тут же прикончили, а тех, что у пулемета двое дежурили, оказалось, хохловские еще раньше порешили: они к ним по-мирному подесли, про новую власть покалякать, да и опрокинули их сразу.

Самая возня-то вышла с начальником. Когда всех стащили к горящей бочке и тех, что зарубили у пулемета, тоже приволокли, расклали до сосчитали, начальника-то и не оказалось. Он опомнился от Васиной доски, да и уполз куда-то в суматохе. Рассыпались все по селу, разбежались искать-рыскать, огни-фонари. Как село не спалили — чудо!

Наконец унюхали начальника. Он тут же, за три избы от Маниной, в сенцах Федоры Микичкиной, спрятался за вяза-

кой соломы. Затаился ли иль сил не хватило у него как следует схорониться, только сцапали его и опомниться не дали, А главное, и револьвер он в беспамятстве своем где-то обронил.

Тут вот и вмешался Михайло Кренив:

— Не дам бить! Меня разорвите, а его бить не дам.

И так и этак к нему...

— Не дам, да и конец. Пусть нам объяснит все, только чтоб истинную правду. Что большевики от нас, мужиков, хотят? Может, нам их власть — как раз?

Все заревели:

— Рассказывай!.. Н-ну, рассказывай!..

— Перевяжите меня, — говорит начальник, — кровью, братцы, исхожу.

Тут же Михайло и перевязку ему из чего-то смастерил, тут же и самогонку кто-то подсунул.

— Рассказывай, что от нас новая власть желает? Н-но не врать, не вертеть хвостом!

Много речей слышала. И «петушинный крик», и «соловьиные трели» нам часто разливали приезжие, горячо жгли, огнем жгли. Но такой речи, но таких слов мне слышать довелось только этот раз.

Да и речь ли то была? Да слова ли то были? Да и не запомнила ни слова, и речи его не поняла, а вот только пожалела его, состояние его почувствовала.

Быть может, быть может, первой коммунисткой я бы стала, жизнь бы, душу бы свою первой отдала я после той речи, если бы уж не связалась тогда крепкими нитями с Петрушиной эсеровской судьбой, если б удержаться сумела, если бы не повлекли меня наши все события под гору...

В темноте еле-еле освещает нас огонь от бочки. Поставили ему скамейку широкую — говори...

Говорил он, говорил... То вдруг словно от боли застонет, затихнет чуть-чуть, то что-то глухое и страшное, что-то угрожающее скажет, а вдруг что-то радостное, светлое, теплое... И вот оно, вот оно, это радостное, это светлое, только, кажись, еще одно всеобщее усилие, всеобщий напор, и царство, и рай пресветлый, вот-вот оно, мое лазоревое, мое радостное, при нем даже и солнца не надо, вот он, мой всесветлый лазоревый праздник...

А то вдруг опять — гробы, могилы... Чьи это гробы? Десять миллионов гробов, как он сказал, — и я только это и запомнила, — которые если бы установить в одну линию, будут про-

стираться от французского города Парижа до Кавказских гор.
Сколько это верст?

Слышала я такую притчу: шел скрипач со скрипкой ночью и попал в волчью яму. Там их, волков, десять. Прижался в угол — волки глазами его палят, зубами ляскают. Утопающему — соломинка, а ему — скрипка. Заиграл-заплакал на ней. Волки успокоились, и челюсти не ляскают, и глаза не жгут, а словно тоже плачут...

Вдруг струна лопнула... Три осталось... Все играет, все плачет, и волки плачут...

Еще одна треснула. Еще одна... Одна осталась — на той и играет бедняга, на той и держится его душка живой до зари.

Удержится ли?

Не лопнет ли?

А зря — далеко, далеко...

Я уж заметила, что начальник мой только и держится на этой последней струнке, да и та уже залохматилась, перетерлась — голос уж хрипнуть стал.

На небо посмотрит — темное, бездонное, далеко до зари. Успокоит ли пьяную толпу эта его последняя речь?

Оторвется ли зверь от свежей горячей раны?

Конец этого события я сама не видела. Я только достоверно знаю, что начальник, может быть, и уцелел бы, не внуши Михайло Кренев всей толпе свою иудину мысль — повести начальника отряда к убитым красногвардейцам затем, дескать, чтоб каждого опознать и сообщить каким-нибудь образом их семьям.

Тут, увидев трупы, толпа, присмирившая было, вновь остервенела, и начальника уложил безменом Гришка Мухин.

Я же еще до этого, как только заметила, что начальник уже надорвался в своей речи, что уже лопнула последняя струнка на скрипке, стала выбираться из толпы. Тут же я натолкнулась на пьяного Васю Резцова и увлекла его за собой «от греха».

Увела я его от Казимировой избы, от толпы, далеко, почти на край села, сюда, к Бунину выгону, на обрыв. Тут мы присели и долго выжидали, кто из нас первый уступит и заговорит.

Вдруг до нас долетел рев толпы. Вася вскинулся, вскочил, чуть не кубарем слетел зачем-то в овражек, потом опять поднялся ко мне. Дышал он тяжело, хрипло. Он посмотрел обезумевшими глазами на меня, потом повернулся, долго выбирал взглядом какую-то нужную ему сторону. Наконец решился

как будто, повернулся лицом в сторону города и, потрясая поднятыми кулаками, завопил:

— Не бою-юсь я в-вас!.. Не бою-юсь я в-вас!

Долго тогда, долго стоял в темноте и кричал мой Вася, точно клялся в чем-то неотступно и нерушимо...

А где же Петруша?

Нет его и нет. Словно в воду канули они с Мысягиным-Клешашевым. Уж не пронюхали ли их затею, не схватили ли их?

После расправы нашей с отрядом, после того как всех большевиков наших сельских хохловские в амбар заперли, мы, словно остров в море, остались. Все с оружием ходили, поставили дозоры за селом и даже власть избрали новую из семи человек. Впрочем, обо всем этом я распишу потом, так, чтобы ниточку поскладнее привить, чтоб еще полнее осветилась вся наша тогдашняя «метелкина война».

На другой ли, на третий ли день, в сумерки, но еще довольно засветло, приходит ко мне Захряпин-вшивик, мой разнечистый враг — он между семерыми тоже во власть был выбран — винтовку принес с собой, коротенькую такую.

— Иди, — говорит, — до двенадцати часов ночи в дозор, на лебяжинускую дорогу. Приказано тебя назначить.

Я его сразу было в позор встретила:

— Вшивик ты, разнесчастный! Да разве баб назначают? Ты это надумал, курятник? Знаю, что ты!

— Я не я, а назначено. Бабы в комиссарах не ходят, а ты ходила. Собирайся тут же.

Тут я поняла, что новая наша власть, хохловская, решила меня во что бы то ни стало как-нибудь замешать, присовокупить ко всей заворожке. Со всей душой заявляю сейчас: мне хоть и не по дороге были тогда большевики, а через Петрушино поруганье, через угрозу обобратить у нас все, так и вовеся они мне стали не сродни, но и против была, наотрез была против такого кровопролития, что совершили хохловские. Колебалась я тогда, все ждала, как и куда ляжет Петрушина линия, по ней мне тянуть.

— С кем, — спрашиваю, — мне идти?

— Со мной, — кашлянул Захряпин.

— С кем?..

— Мне приказано за главного быть.

Всмотрелась я в него попристальней: ах, думаю, недоброе у тебя, ехидна, на душе. Я-то было уже решила покориться, зная, что хохловские за мои обиды им не отступятся

от меня. А тут я вдруг даже испугалась вороватых его глаз. Уж, думаю, не стоворились ли они меня порешить там, ночью?

— Не пойду!

— Пойдешь, раз приказывают.

— Вон из моей избы!

— Вон не вон, а пойдешь. Приказано тут же с тобой все сделать, если не пойдешь.

Вижу, уж не до шуток дело. Может быть, я бы покори-лась и сразу, приди за мной не Захряпин, а другой кто.

А этому, гадюке этой покориться? Ни за что! Эх, думаю, на грех, на грех я у стола стою, от чулана далеко. В чулан бы мне только как-нибудь. А в чулане, на полочке, под трубой, у меня револьвер-браунинг, что у Николая отобрали, лежал.

Вижу, и Захряпин определенную держит цель. Притворилась я, что уступаю.

— Иди, — говорю, — сейчас явлюсь.

— Я подожду. Приказано не отпускать тебя никуда.

— Переодеться, — говорю, — надо. Иди.

Тут я было сунулась в чулан. Он за мной.

— Не девка, и тут переоденешься... Ну, упряждаю, сама себя вини, коли...

Смотрю, а он свою винтовку-коротышку поднял прямо к спине моей, в лопатку мне целит. То, что я пережила в эту минуту, я и сейчас совершенно ясно помню. И не только помню, но со мной, когда я упорно подумаю об этом, повторяется это ощущение. Вроде схватки. Только совершенно, кажись, невероятной схватки, невысказанной в таком положении.

В законе или не в законе человеческой жизни то, что я опишу. Когда он коснулся моей лопатки винтовкой и я оглянулась на него, тотчас же, в ту же секунду я ощутила эту «схватку», ощутила припадок страсти, очень сильный, однако очень мгновенный, тут же и кончившийся. Вот что странно: и на поверку потом оказалось, что «припадок» этот в действительности «закончился». Сейчас же вступило какое-то похолодание, особенно вдарил этот холод в колени мои, и очень ясно, очень прозрачно стало в мыслях. Так ясно, до того прозрачно, что осталась вдруг в голове одна, одна, только самая главная, самая незначущая мысль, которой, однако, я не помню, и сколько ни билась, не могу вспомнить, да и забыла-то я ее тут же, как она возникла. Только наверное знаю, что это была какая-то совсем отменная мысль, самая главная, насквозь меня пронзившая.

И тут же, как только сорвалась эта мысль, я осознала всю свою беспомощность, бессилие. Нет, нет, не бессилие, а только беспомощность, — ничего нет у меня, за что бы схватиться, миновать бы этого, отвести от себя. Тут бы и плакать, тут бы и кланяться, унижаться, да ведь еще как: в это мгновение, казалось, готова была на всю бы жизнь в рабыни ему на поруганье себя отдать, только не смерть. Покоряюсь, раба твоя, пес твой пресмыкающийся, во власти твоей и никому никогда не откроюсь, почему раба, почему пресмыкаюсь, почему во власти.

Только да минует меня мой внезапный конец...

Кто хоть раз висел на волоске, тот потом решится на все. Кого отпели, тот уж отпетый. Я потому так подробно оставилась на этой минутке, что повисела я на волоске, что отпел меня еще тогда же Захряпин.

Знать бы мне, как он тогда сам перетрусил, что ему убить меня приходится сейчас же, без подготовлений, то есть прыгнуть без разбега в пропасть, почувать бы мне, что таким подлым душонкам (хоть они и способны убить) нужно очень долго готовить себя, что они не могут сразу, без того «разбега», который он в ту же ночь проделал, пытаясь меня прикончить, — да я бы тогда тут же, в избе, связала бы его как цыпленка, скрутила бы да кипятком бы ошпарила до смерти, ни за что бы не стала револьвер об него поганить.

Ой, жаль, ой, жаль, что узнала я об этой трусости уже в поле, на лебязинской дороге, куда он увел меня, обезоруженную, покоренную, в дозор.

Когда мы пришли туда, совсем стемнело. Небо, на мое счастье, заволокло облаками, низкими такими облаками, тяжелыми, медлительными. Кажись, вот-вот ливень грянет. Подошли мы к казенной межевой яме, он остановился и говорит:

— Тут будем караулить, садись.

Он сел, и я села поодаль, шагах в десяти от него. Сама глаз с него не спускаю. Еле-еле видно мне его. Однако вижу я его не одними только глазами, а скорее чувствую каждое его намерение, каждое его движение. Вижу, он пригнулся к самой земле и всматривается в меня, так, чтобы я маячила перед ним на фоне неба, чтоб заметнее была. Я тоже пригнулась к самой земле да полегоньку в сторону отползла. Он, наверно, тут же потерял меня.

— Ты где? — спрашивает.

— Тут, — а сама опять в сторону.

— Иди сюда, ближе.

— Не обниматься нам. И тут не плохо, — и опять отползла.

Молчит. И я молчу. Припала к самой земле, стараюсь рассмотреть его — и не вижу. С глаз потеряла. Только вдруг показалось мне, что он ползет на меня. Вслушалась — и верно: ползет прямо к тому месту, откуда я только что уползла. Затих, видно, разглядывает, да не разглядит никак. Опять спрашивает:

— Дождь бы не пошел?

И верно, что переполз он на новое место. «Не отвечать?» — думаю. Он от меня шагах в восьми теперь. Если отползти еще, как можно дальше отползти да и убежать? Только было я поползла, вдруг слышу — вот, рукой подать до него. Дыханье его затаенное слышно. Сама ли я закружилась да к нему навстречу поползла, он ли, как змея, неслышно подкрался, только больше всего напугалась я именно того, что он так неслышно, по-кошачьи умеет красться. И он меня обнаружил.

Трусил ли еще его подлая душонка? Не приготовилась ли еще? Только почему бы ему тут же не стрельнуть в меня? Иль он не был уверен, что я совсем обезоруженная? Опять спросил. Только уж таким голосом, точно горло кто ему сдавил, и не сразу, как обнаружил меня, спросил:

— Как, по-твоему, дождик?

Эта трусость его и меня как-то укрепила. Чья возьмет, думаю?

— Ты что, — говорю, — ползаешь с места на место? Сиди — не то впотьмах на кол напорешься.

Да тут же и отошла от него и опять легла на земле, чтоб его высмотреть. Тут и расхрабрилась паршивая его душонка. Вижу, приподнялся он с земли, вроде бы на колени встал и даже как будто винтовку приготовил.

— Это как, — спрашивает, — на кол?

Я молчу, ползу от него на боку, медленно-медленно ползу, стараюсь вовсе не шуршать. Так медленно, что каждый вершок мне за версту кажется. Я ползу, а в темноте мне кажется, что он винтовку вслед за мной ведет. Мне думалось, что я уж шагов за двадцать уползла от него, я было уж и встать хотела да бежать удариться. Вдруг он рядом, шагах в пяти от меня, крикнул испуганно:

— Едут, кажись?!

На этом-то я и попалась ему. Эта-то вот его хитрость едва-едва не стоила мне головы. Уж очень он, ехидна, неожиданно: «Едут, кажись?!»

Я даже обрадовалась чему-то. Приподнялась на руках, слушаю, слушаю... о нем забыла совсем. Кажись, и верно где-то впереди, по дороге, тележка тарахтит. Да нет, показалось, должно быть. Тут я и выпали ему сдуру-то:

— Нет, — говорю, — не слышно.

И помню, успела еще подумать: «Зачем же, зачем же я ему сказала: «Нет, не слышно»? Хотя и не слышно, да надо сказать — слышно, ведь тележки этой, ведь этого «едут» он, наверно, струсит. И даже, кажется, собралась было поправиться, как он хлопнет в меня! Почти в упор. Так и обдало меня землей.

Ой, баба! Ой, баба-дура! Овца я глупая! Ведь только через трусость его подлой души и спасалась я. Визгнула я, точно вся насквозь прошла, вскочила я да бежать. Шагов двадцать отбежала, упала зачем-то. Хватилась: ведь в открытую я побежала-то, уж чего бы, кажись, легче тут же треснуть в меня второй и третий раз.

Да уж, видно, и у него на то лишь и душонки хватило, чтоб всего лишь раз, один раз пальнуть в меня. Слышу, вдарился он что есть мочи от села прочь, напрямик по полю, в сторону большака. «Топ-топ-топ»... и шаги затихли. Тут я действительно вдруг слышала, что впереди, и уж не очень далеко, тарахтит тележка. Едут. Ее-то он, видимо, и услышал вперед меня, она-то, наверно, и подтолкнула его подленькую душонку на выстрел.

Тарахтит тележка, никакого сомненья. Ближе, ближе... Ой, эта тележка! Ох, проклятый этот возок! Что он мне, что он мне в ту ночь привез!

К этой же главе вдобавок замечу, что Захряпин убивать меня затеял в одиночку, никакого приказа, кроме того, как взять меня в дозор, к чему он сам же меня и подбил, он от нашей новой власти не получал, и повторяю — новой власти никакого интереса убивать меня не было, так как им того лишь и желалось, чтоб присовокупить меня к заворошке — в расчете ли на Петрушу, иль потому, что я была в председателях комбеда. А в Захряпине я разобралась сразу же: он тогда решился на это потому, что узнал приехавшего к нам Николая и боялся, что я ему напомню о том, что Захряпин его предал тогда за царский памятник. Да и впоследствии, когда он опять у нас вынырнул и стал играть главнейшую у нас роль,

он этим только и руководился, расставляя свои сети для меня.

Но об этом впереди, а сейчас замечу: Захряпин в ту ночь скрылся в город и там донес большевикам, что у нас в селе самосудом уничтожили продовольственный отряд...

Теперь о тележке, об этом проклятом возке, что я слышала тогда и через что я едва не лишилась жизни. На этом возке и представил мне Шульц-младший с каким-то другим дьяволом Николая.

Если бы Шульц-младший или этот его дьявол попались бы мне, когда уж я влезла в свое пагубное русло, то с них бы, с того и другого, я бы и начала. Особенно противен и постыл стал мне с первого же взгляда этот его дружок. Брови белые, словно бы вылезли, лицо все в прыщах, в болячках, червивый какой-то, глаза узкие, длинные, словно все время спит и все решительно делает во сне, как будто он не живой, а мертвец весь в язвах. Да и фамилию тоже он себе выбрал страшную при этом его облики — Саваоф. Особенно страшны и противны его белые вылезшие брови.

Он-то, этот дьявол, и казнил Николая мучительной казнью. Казнил тут же, у нас на прогоне, между моей и кренивской усадьбой, как только они с Шульцем проникли про наше событие. Да под нашу бирку они над Николаем и расправу учинили, чтоб вину, в случае чего, на нас свалить.

Расскажу уж я лучше историю всех мытарств, которые, как терновый венец, упали на Николаеву победную головушку, когда им овладел этот Шульц-младший. Историю эту я установила из самых подлинных источников, можно сказать — из первых уст. Да и нетрудно разгадать черную душу, гнилое сердце этого Шульца, если следить по тем его поступкам, что он совершил, захватив Николая, как кошка — мышшь. Кошка?! Да куда там кошка! Ведь уж если кошка не сразу растерзает мышшь, так лишь затем, чтобы поиграть, душу звериную потешить, удовольствие в предвкушении испытать.

А тут — совсем не то, хотя многие, кому я рассказывала про него, так и поняли, что Шульц — кошка, что он истязатель, или, как по-ученому называют, садист, тем более и объяснение тут как тут: Шульц, дескать, из помещиков, он, дескать, из дворян, а им, дворянам-помещикам, и быть в истязателях-садистах, о них будто и в литературных книжках выведено, об таких истязателях-садистах из дворян-помещиков.

Только я в том совсем не согласна. Если он истязатель; если уж он садист, то зачем, спрашивается, ему нужно было

искать, подбирать себе в дружки этого белобрового червивого Саваофа? Зачем? Ведь оказалось, Николая он сразу же устроил (а лучше сказать — засунул) в таком недосыгаемом месте, что там бы вволю и насытился бы истязательством, коль черной душе его не приторно через соломинку, а не сразу тянуть из человека жизнь. А держал он Николая за весь этот промежуток взаперти, в погребе, на хуторке своей родной сестры. И хуторок этот находился в двух верстах от села, его, хуторок, тамошние мужики не тронули, а определили ей на прожитие за доброту и за набожность. (Мне потом довелось побывать у этой его сестры по делу, и она мне показала чем-то вроде монашки, со странным, однако, пристрастием к графинам, пустым, конечно... этих графинов, графинчиков — синих, голубых, красных, и больших, и маленьких, чуть ли не с наперсток — я у ней тогда на всех полочках и на всех гвоздиках заметила.)

Тут бы и пытаться Шульцу Николая при набожной своей сестрице: она — в графинчики играть да в окошко поглядывать, а он — Николая пытаться. Особенно днем — в погребе глухо и темно, а в поле, за пять верст, не то что человека, а галку не прозеваешь, заметишь.

А оказалось, Шульцу потребовался дружок, безбровый казнитель Саваоф. Вот в том-то и гвоздик, что Шульцам этим никак не обойтись без «казнителя». Это он, сам Шульц, и узнал, когда повез Николая. Ведь он тогда у нас, как Николая скрутил, из кожи лез, чтоб тут же его прикончить. А как остался с ним наедине (ведь чего бы, казалось, — и ночь, и глушь, и в полной его воле окруженный человек), так тут и сказалось, что силенки-то, что смелости-то своей не хватает. Ну, не ясно ли, что он рассчитывал на Петрушу, а пожалуй, больше того, — на Мысягина-Клемашева, располагая со стороны «посмотреть», как убивают человека.

«Братья, крестьяне, хватайте топоры, берите вилы, рубите своих врагов, колите их на проезжих дорогах и оптом и в розницу!»

Кто так кричал со своей черной тройки? Кто так подстега-гал? Чья это программа? Его программа. Шульца-подстрекателя.

Подстрекнуть мы умеем, человека ненавидеть и смерть ему желать можем, а убить самому — кишка жидка. Планы-то у нас большие, кашу-то нам хочется заварить на весь полк, чтоб полк нас начальником, вожаком выбрал, а чтоб заварить-то, нужен пример, чтоб весь полк удивился нашей страшной

«черной» силе. Нужен личный пример, а тут-то как раз и тонко. (Он ли, Шульц, не предвидел, какая заварится Петрушей да Мысыгиным каша? Он ли не метил к нам в полковники?) Тут вот и нужен подставной казнитель Саваоф. Одно слово, и Саваоф — вперед. Саваоф — бац-бац, и все. Коротко и ясно.

А мы стоим в сторонке, спокойно, бровью не моргнем: гордыней-то нашей любуйтесь, силой-то нашей изумитесь. Пусть каждый посмотрит и подумает, что, дескать, если Саваоф, так сказать, «племянничек» таков (бац-бац, и все!), то каков же сам «дядя»? Каков же сам Шульц, весь в черном? Ведь едва заметного знака его достаточно, чтобы бац-бац, и нет человека! Любой, кто увидит такую «решимость», сразу же воскликнет: «О! Шульц — это «черный дьявол». А на самом-то деле такая мразь, как Шульц, на то лишь и способна, чтоб хитростью, при помощи «Саваофа», создать видимость своей силы.

Как это устроена жизнь, что люди такие, шульцы такие, непременно находят этих саваофов, а саваофы — подсаваофов или полусаваофов, и так целую партию — «ШС» — Шульц — Саваоф.

А сколько таких шульцев-подстрекателей я тогда сосчитала, таких ничтожеств, любящих, однако, создать видимость своего могущества, своей силы?! Необыкновенной силы, грозной, страшной силы.

В поле я тогда очень долго пролежала. Все таилась, все боялась — не стережет ли, не встретит ли меня Захряпин, хотя я и слышала, как он убежал к большаку. Началась гроза. Хоть небо затянуло совсем, хоть сделалось еще темней, но перед самой грозой стали вспыхивать частые миганья. Все чаще, все светлей, затем на некоторое время это дрожащее миганье стало непрерывным, посветлело в поле, зеленоватый такой полумрак держался, пока, наконец, молния не раскроила небо.

Ни возка, ни лошади я тогда не заметила у своей избы. Только свет польщит во все окна. Они, Шульц со своим Саваофом, и без меня оказались хозяевами: сломали замок (тот большой плоский замок я швырнула Михайле Кренину после того, как он меня упрекнул за «чужой замок»), лошадь в ригу отвели, не распрягая.

А кроме того, этот разнечистый Саваоф с того и начал в избе, что сорвал у меня все иконы да в сенцы их выбросил, всю мебель по-своему расставил, кровать мою передвинул. от

печки к заднему простеночку, стол из переднего угла переставил на середину избы, постлал под ножки половики, так что из них получился четырехугольник с пустой серединой, и вокруг стола расставил стулья. В передний угол передвинул большие — с полу и чуть ли не до потолка — часы, которые я выменяла на хлеб. (Он с Шульцем пробыл у нас всю нашу «метелкину войну», и впоследствии я даже установила за ним эту привычку — хозяйничать в чужих домах и все по-своему расставлять, а особенно вышвыривать иконы, которые он терпеть не мог.)

Когда я вошла, Шульц с мрачным видом шагал по избе, а Саваоф сидел в кресле. На меня они и внимания не обратили. Взглянул Шульц и тут же опять зашагал и запел тихонько:

Под знаменем черным
Гигантской борьбы
Мы горе народа
Утопим в крови.

А когда Шульц переставал петь, тогда, не шевелясь в кресле, затягивал Саваоф, но уж затягивал свое:

Ай, Сергунька, серый свет осиротел,
От Сергуньки тихий ангел отлетел...

Я совсем не знала, что они привезли с собой Николая, которого тотчас же перенесли в новый мой сарай, на телегу, да там, связанного, кроме того, прикрутили вожжами, а сверху покрыли воротцами, нарочно для того ими сорванными с петель у меня на погребушке. Так что Николай лежал в телеге, как в гробу (у нас ящики к телеге делаются глухие, книзу уже, а сверху шире), дожидаясь своего судного часа.

Как на исповеди говорю: я не знала, что в сарае моем, где хранился уж непотребный, да, признаться, и лишний инвентарь, находился Николай. Знай я это, по-другому бы все вышло. Может быть, даже Петруше во вред я бы тогда же, сгоряча да назло Шульцу с Саваофом развязала бы Николая, выпустила бы.

Выпустила!.. Легко сказать — выпустила. Вымолвить только легко. Ведь во что превратился за это время Николай? Я ли не перенесла, я ли не испытала, мое ли не окостенело сердце? Но когда на следующий день всей сходкой народ от управы вдруг двинулся к моей избе, во главе с Шульцем и Саваофом, к моему сараю (как страшно, когда толпа молчит

и слышно, как она дышит), когда Саваоф, Гришка Мухин да кто-то еще вынесли Николая и бросили его к ногам Шульца и когда я подбежала, я с трудом, с трудом (скорее всего по своему полотенцу, которое так и не снимал Шулец с его ног) распознала, что это Николай. Я тут же лишилась памяти, точно так же, как в тот день, когда увидела мертвого Ефима.

Сколько же может перенести человек? Мне теперь-то вот, когда я уж «отдалась» от такого на невозвратное расстояние, мне писать-то, думать-то страшно, вспомнить-то тяжело.

Руки... руки его да босые ноги его, Николая, мне страшны и до сих пор, потому что я их так тогда ярко восприняла, перед обмороком, что и поныне они мерещатся мне. Большие, огромные (даже невероятно, сколь огромные) пузыри вместо кисти. Синие, водянистые пузыри, а из них торчат коротенькие опухшие пальцы, согнувшись в крючки. Такие же круглые пузыри вместо ступней, на которых торчат маленькие, как грибки, пальцы.

Опомнилась ли я на секундочку, рассказали ли мне и уж я сама себе так по рассказам представила да по характеру Шульца так ярко нарисовала, только, мне кажется, я видела, как Шулец указал на Николая выгнутой вниз, совершенно прямой рукой и что-то крикнул Саваофу. Тут же Саваоф наступил одной ногой Николаю на живот и семь раз подряд выстрелил в него, лежащего кверху лицом.

После того как Михайло Кренин уволок меня с кем-то в избу, я, приходя в сознание, все время слышала рев, шум и выстрелы на нашем прогоне. Я вначале думала, что мне все это лишь мстится, но оказалось, что Шулец и толпа вошли во вкус. По его приказу хоховские отрубники приволокли к нашей канаве одиннадцать человек наших большевиков, и, начиная с Данилова, всех их уложил Саваоф, а Шулец объявил, что большевистская власть у нас низвергнута вовсе.

В себя я окончательно пришла совсем к вечеру, затемно, и первым делом допытывалась у Михайлы, куда дели убитого Николая.

Кроме Михайлы в избе сидел кто-то. Теперь уж не помню даже, из мужиков ли кто был или баба? Вижу — Михайло делает мне какой-то знак. Только я не соображу, не пойму, на что он намекает.

— Где, — спрашиваю, — куда дели мученика?

— Не знаю, — отвечает, — не знаю. Не поймешь теперь, сколько их там свалено, мучеников твоих, — и опять кивнул мне украдкой.

Когда они ушли, я тут же вдруг решила встать и осмотреть все. Хотя и не знала еще, как это я «осмотрю» в такую темь, да и не знала еще, в каком месте их всех свалили. Узнала только, что в нашей канаве, а где в канаве — за амбаром ли, за ригой ли или тут же за двором?

Вышла на прогон и сунулась было прямо к канаве, вдоль хотела пройти ее, до самой реки, пока, мол, не найду. Сунулась да вдруг оробела. Не могу подойти к канаве, никак не могу. И хочу, и надо, и потребность такую неодолимую чувствую подойти к канаве, а не могу.

Пошла по дорожке, шагах в восьми от канавы... иду... и вдруг почувствовала — вот здесь... почему почувствовала, что именно здесь, на этом месте все они лежат, — не знаю: потому ли, что на прогоне в этом месте до земли, до пыли была трава вытерта толпой, потому ли, что разглядела особенно помятую и поломанную коноплю, или уж так... почувствовала...

В этот миг около расстрелянных не было никого, я почти уверена, что не было никого или, по крайней мере, не было никого из посторонних, хотя Шульц приказал разложить убитых в ряд и для острастки не убирать их, но с темнотой все разошлись, видимо боялись какой-нибудь неожиданности, которая могла бы застать их на месте преступления. Мне кажется, что они пришли после этого, явились тогда, когда я вдруг решила сбегать за спичками или за фонарем, за светом, вообще за чем-либо решила сбегать домой и тогда уж приблизиться к канаве.

Я написала — «вообще за чем-то сбегать домой». Так оно и оказалось на самом деле, потому что ни спичек, ни фонаря, ни чего другого я не захватила с собой, а, прибежав в избу, повернулась там, пометалась как сумасшедшая, да опять туда, на канаву, ударилась.

Вот тут я их заметила еще издали, и не то что заметила, увидела, а просто услышала, что кто-то (не один, я сразу почувяла, что не один) тащит что-то. Я было притаилась, но тут я услышала стон, нет, не стон, а хрип. Я сразу же почему-то догадалась, что Николай еще жив, — уж потому наверно, что о нем только и думала. Сразу-то я решила, что добивают его, доканчивают, даже предположила, что доканчивает его, душит его молча не кто иной, как этот червивый Саваоф.

Как ястребиха я налетела на них. (А чего бы я сделала, если бы то был на самом деле Саваоф? Он бы тут же и меня прикончил.)

Слышу, Михайло Кренев мне прямо в лицо хрипнул:

— Тишш... дура...

Михайло и брат его Федька тащат кого-то через прогон к себе в коноплю... Вглядываюсь-вглядываюсь... Да, он, священный, кисти опухлые, вижу — он, Николай...

— Жив он, Миша?

— Тишш... дура... В пояснице бери, к переду ближе... Федьке помогай... ноги... мне легко.

Николая мы поместили у Михайлы в амбаре. Там, оказалось, уж сидел напуганный до смерти доктор наш, Тимофей Макарыч. Принимаясь за Николая, он все время просил Михайлу не подводить его, потому, дескать, что он, как врач, обязан оказывать помощь всем больным, без различия партий, из которых он ни к одной не принадлежит.

Михайло ему только и буркнул раз:

— Этого вызволишь, и сам спасен будешь. Меня слушай, Макарыч, этот верней всех пригодится. Предчувствие у меня есть. Этские медведю не в хвост, а прямо в горло вливаются!

Я спрашиваю у Тимофея Макарыча о Николае:

— Жив-то будет ли?

— Исковыряли, мать, всего исковыряли... Видишь, вот куда угодили, в сосок прямо... На фронте был у меня такой случай — тринадцать ран, и выжил... А вот тут резать надо. — Постепенно он увлекся, страх свой забыл, лишь бинты шуршат, вата скрипит.

V

На заре, оставив Николая под надзором Михайлы, я прокрасалась в город. (Замечу, что напрасно я опасалась, что меня схватят и заподозрят «донос». Хотя посты и дозоры Шульц увеличил и наказания им давал самые строгие, но я никого не встретила. Видимо, караульные робели и посты свои покинули. В такой мертвой и туманной тишине я оставила село, что уж и тогда ныла моя душа от тяжких, от горьких предчувствий).

Город наш в те дни на сквозняке держался: чья власть? Не то большевики, не то эсеры. Только страшен был тогда город. Разбитые витрины, во многих домах рамы вырваны — как мертвецы безглавые стоят, высокие, жуткие, нечисть прямо на тротуарах, собаки какие-то одичалые рыскают, а люди все норовят бегом пробежать, скрыться тут же, да все больше не по улицам, а по проходным дворам крадутся. А чуть

лишь шум какой, — все тотчас же в закоулок или в проломы заборные бросятся.

Я тогда на Аптекарской улице вот на какую картину наткнулась: на мостовой лежит в грязи, лицом вниз, человек какой-то, в желтой запачканной куртке. Но видать, не мертвый, а пьяный как дым. Тут извозчик едет прямо на него, такой спокойный, сановитый старик, которому «на все наплевать». Сидит, дремлет папаша, почитай, наткнулся на пьяницу этого. Вдруг пьяница этот рыло свое из грязи кверху задрал и на извозчика матерно, — голос гнусавый, словно бы он одним носом говорит:

— ...Куда прешь, чертова ваянга? Не видишь — власть лежит?

Тут и я по голосу узнала этого молодчика, эту «власть». То был городской шорник, седлами торговал, я-то его впервые запомнила, голос его гнусавый заметила, когда нашла своего Петрушу в подвале дома Кузьмина за разгулом. Он, как я знаю, был действительно выбран при Керенском в какую-то «думу», но с переменой его прогнали, и с той поры он страшно, говорят, затосковал о власти и запил.

В город я пошла из-за Николая (доктор наш дал мне рецепты и письмо в хирургическую больницу к своему знакомому) и ради Петруши, так как вчера, до расправы, Шульц-младший сообщил мне, что Петя не сегодня-завтра явится в город со своим войском.

Посидев в аптеке, сходила в больницу, побежала по учреждениям выпытать потихоньку, где Петя и каково теперь к нему отношение. В Земельный отдел сунулась, туда, сюда, в Совет Советов, — нигде никого. Либо сторож, либо солдат с винтовкой. Один мне сказал, что все власти у воинского присутствия на мобилизации. Я и зашлепала туда. Тут и нашла и всех и все.

Из уезда по мобилизации явилось в этот день всего лишь из трех сел — из Петрова, из Поплевина да из Конищева — человек триста-четыреста. Все они толпились около воинского присутствия, и большевистские комиссары по очереди выходили к ним и с крыльца ораторствовали им, что революция в опасности, что со всех сторон наступают буржуи, и наши, и заграничные, идут фабриканты, идут помещики, возвращается царь.

Все еще как-то крепилось, молчалось, удерживалось. И удержалось бы, может быть, кабы не этот Мельников. Не выступать бы ему тогда, да и никогда, нигде. Даже наверно

удержалось бы, особенно когда к воинскому присутствию вдруг явились с песнями да с флагами добровольцы с того кирпичного завода, на котором работал мой Петруша. Настроение они очень даже подняли, поддержали, даже нашлось еще человек пятьдесят добровольцев и из здешних, которых до сих пор уговаривали, а некоторые согласились идти и без «комиссии» (то есть без врачебной комиссии, так как только что об этом спорили и разъясняли — слухи ходили, что никаких врачей большевики к мобилизации не допустят, а многие на то лишь и надеялись, что врачи освободят).

Когда нашумелись, накричались все (несколько раз тогда кричали «ура» и музыка играла «Интернационал»), тут и дернул черт Мельникова выступить со своей речью, со своей нескладехой-неладехой. А главное — зубы золотые. Ощерил он свое зевло, зубы-то золотые так и блестят. Народ же в то время, как известно, до того был подозрителен, до того вспыльчив и изменчив, что эти его золотые зубы сразу на рожон всех толкнули.

— Буржуй!.. А-а-а!.. Нас на бойню шлют, а сами и в рот-то напихали золота...

— У них в заду, гляди-ка, золото напихано.

— В Германию золото!

— Выбить ему зубы-то. Народное добро!

Загудели трубы, кто во что горазд. А тут один озорник как вдруг подскочит к крыльцу да как задаст, прямо у Мельникова под самым носом, жаркого трепака с прибауткой:

На меня, соколика,
Четыре протоколика...

Этот вот момент, такое вот настроение и урвал мой Петруша. Все вдруг сразу слышали дробный, четкий шаг пехоты, и тут же из-за угла с Покровской улицы показались солдаты. Все в шинелях, все на подбор, штыки, как хворост. Смотрю, впереди — Петруша, а с ним — Мысягин-Клемашев, оба они в длинных новеньких шинелях, у Петруши большой револьвер маузер на деревянной колодке, на ремне через плечо, у пояса две гранаты, бледный, еще синей стали под глазами у него круги, глаза в этой синеве горят.

Мои глаза, мой в них огонь, моя в них жизнь... Петруша! Сокол мой! Солнце красное!

Я даже не разгневалась на него тогда за то, что он оттолкнул меня, за то, что почти не взглянул, только шепнул:

— Пусти, мама...

Отряд этот был подобран Петрушей и Мысягиным за это время почти целиком из эсеров, нашего и соседнего, Ковского, уездов.

Часа через два большевиков выбили из воинского присутствия, а тех, что остались в живых, перееарестовали и посажали в тюрьму. Тут же, поперек Покровки, главной улицы в нашем городе, растянули красное полотно с надписью:

«Долой большевиков, захватчиков власти!»

Однако с Петрушей я в этот раз увиделась очень поздно, ночью. Они до полночи совещались в доме Совета Советов, а я сидела там в коридоре да все ждала, все прислушивалась, как распалаясь, как звенел голос моего желанного. Кончилось. Петруша вышел. Веселый, радостный, победитель мой, герой.

— Ты что, мама?..

Мне-то, матери, так при такой радости: «Ты что, мама?» Ну, да пусть. Ну, да это ерунда. Это я все, все прощаю. До меня ли ему теперь, до моих ли глухих слов? Да и все это — ничто, если сравнить с тем лютым разочарованием, в какое завел меня мой сын, мой первенец, и оставил одну впотьмах, в горечи и тоске.

— Ты что, мама?

— Петруша... да как же так... «что?»

Тут Мысягин загудел, заухал, как ломовик:

— Поцелуй, Петруха... Матку поцелуй, дубина. Матка, осел ты вислоухий, самая главная «партия», если ты, черт багряный, хочешь знать. Матка у тебя, осел, что молодуха. А ты, Прасковья, сдуру-то на цыганку похожа. Го-го-го... Поцелуйся, тебе говорят, чмурило нечесаный... Может, и не доведется больше, скот.

В сторону как-то, словно не от души, поцеловал меня тогда Петя и даже как будто оттолкнул меня раньше времени... И опять у меня на секундочку мелькнуло в мыслях Петрушино подозрение о смерти Ефима.

— Как там у вас, мама?

— Петруша, перебили всех у нас... всех перебили... Сначала отряд, потом и всех... Данилова... и всех.

Я боялась сказать о Николае, решилась наедине шукнуть об этом Петруше.

Известие это мое все они встретили с большой радостью и даже решили тут же снова заседать уж по «нашему» вопросу, с тем чтобы как следует им все осветить о нашем событии и хотя бы наскоро решить все. Но тут прибежал какой-то

военный и сообщил, что заводские наотрез отказались принять наших представителей и пригрозили стрелять.

Это сообщение так вдруг встревожило Петрушу, что я даже испугалась за него, — до того он вдруг изменился в лице, до того вдруг погасла его радость, потух его огонь.

— Ерунда, — залепетал он, — недоразумение... я сам пойду... Они меня как облупленного знают... недоразумение.

Петруша поехала, и я с ним увязалась. Дорогой я и шепнула ему о Николае. Как он на меня набросился тогда, как зарычал! Точно бы не Саваоф, а я стреляла в Николая. Ишь уж за это время проснулось в нем раскаяние, что доверил он своего друга этому черному прохвосту Шульцу-младшему? Едва тут же не прогнал меня назад в Совет Советов с приказом Мысягину-Клемашеву немедленно отправить врачей к нам в Журавинку, хотя бы под конвоем.

Тем только и успокоила его, что наш Тимофей Макарыч хоть и признал очень трудным положение Николая, но все-таки обнадежил.

В городе у нас фабричного-то только и был тогда один кирпичный завод Суханова, станков в сто — сто пятьдесят. Расположен этот завод тут же в черте города, у реки, ближе к Захупте. С двух сторон он был обнесен забором из высоких и толстых заболонок, а с третьей стороны протекала река, так что заводской двор, и с сараями и с карьерами, походил на огромный треугольник. Главные ворота выходили в город, на Соборную улицу, близко от тюрьмы.

Сюда и подкатили мы с Петрушей. Стучим. Во дворе, где-то вдали, гул слышно — должно, заводские собрались. Сторож окошечко открыл, спрашивает:

— Кто?

Петруша ему в окошечко:

— Это я, Моисеич... Я... Не угадал? Горянов... Петр Горянов. Петьку помнишь?

Сторож окошко захлопнул. Стучим... Стучим... Опять стучим... Слышу я, бегут несколько человек. Шепчут что-то за дверью. Опять окошко открыли.

— Кто тут?

— Откройте. Это я, Горянов... Федор Ильич, это ты? Недоразуменье...

— Я, я... Сейчас... Где ты?

Литераторы, голубчики, объясните матерям, предчувств-

Отряд этот был подобран Петрушей и Мысягиным за это время почти целиком из эсеров, нашего и соседнего, К-овского, уездов.

Часа через два большевиков выбили из воинского присутствия, а тех, что остались в живых, перестреляли и посадили в тюрьму. Тут же, поперек Покровки, главной улицы в нашем городе, растянули красное полотно с надписью:

«Долой большевиков, захватчиков власти!»

Однако с Петрушей я в этот раз увиделась очень поздно, ночью. Они до полночи совещались в доме Совета Советов, а я сидела там в коридоре да все ждала, все прислушивалась, как распалаясь, как звенел голос моего желанного. Кончилось. Петруша вышел. Веселый, радостный, победитель мой, герой.

— Ты что, мама?..

Мне-то, матери, так при такой радости: «Ты что, мама?» Ну, да пусть. Ну, да это ерунда. Это я все, все прощаю. До меня ли ему теперь, до моих ли глупых слов? Да и все это — ничто, если сравнить с тем лютым разочарованием, в какое завел меня мой сын, мой первенец, и оставил одну впотьмах, в горечи и тоске.

— Ты что, мама?

— Петруша... да как же так... «что?»

Тут Мысягин загудел, заухал, как ломовик:

— Поцелуй, Петруха... Матку поцелуй, дубина. Матка, осел ты вислоухий, самая главная «партия», если ты, черт багряный, хочешь знать. Матка у тебя, осел, что молодуха. А ты, Прасковья, сдуру-то на цыганку похожа. Го-го-го... Поцелуйся, тебе говорят, чмурило нечесаный... Может, и не доведется больше, скот.

В сторону как-то, словно не от души, поцеловал меня тогда Петя и даже как будто оттолкнул меня раньше времени... И опять у меня на секундочку мелькнуло в мыслях Петрушино подозрение о смерти Ефима.

— Как там у вас, мама?

— Петруша, перебили всех у нас... всех перебили... Сначала отряд, потом и всех... Данилова... и всех.

Я боялась сказать о Николае, решила сказать наедине шукнуть об этом Петруше.

Известие это мое все они встретили с большой радостью и даже решили тут же снова заседать уж по «нашему» вопросу, с тем чтобы как следует им все осветить о нашем событии и хотя бы наскоро решить все. Но тут прибежал какой-то

военный и сообщил, что заводские наотрез отказались принять наших представителей и пригрозили стрелять.

Это сообщение так вдруг встревожило Петрушу, что я даже испугалась за него, — до того он вдруг изменился в лице, до того вдруг погасла его радость, потух его огонь.

— Ерунда, — залепетал он, — недоразумение... я сам пойду... Они меня как облупленного знают... недоразумение.

Петруша поехал, и я с ним увязалась. Дорогой я и шепнула ему о Николае. Как он на меня набросился тогда, как зарычал! Точно бы не Саваоф, а я стреляла в Николая. Иль уж за это время проснулось в нем раскаяние, что доверил он своего друга этому черному прохвосту Шульцу-младшему? Едва тут же не прогнал меня назад в Совет Советов с приказом Мысягину-Клемашеву немедленно отправить врачей к нам в Журавинку, хотя бы под конвоем.

Тем только и успокоила его, что наш Тимофей Макарыч хоть и признал очень трудным положение Николая, но все-таки обнадежил.

В городе у нас фабричного-то только и был тогда один кирпичный завод Суханова, станков в сто — сто пятьдесят. Расположен этот завод тут же в черте города, у реки, ближе к Захупте. С двух сторон он был обнесен забором из высоких и толстых заболонок, а с третьей стороны протекала река, так что заводской двор, и с сараями и с карьерами, походил на огромный треугольник. Главные ворота выходили в город, на Соборную улицу, близко от тюрьмы.

Сюда и подкатили мы с Петрушей. Стучим. Во дворе, где-то вдали, гул слышно — должно, заводские собрались. Сторож окошечко открыл, спрашивает:

— Кто?

Петруша ему в окошечко:

— Это я, Моисеич... Я... Не угадал? Горянов... Петр Горянов. Петьку помнишь?

Сторож окошко захлопнул. Стучим... Опять стучим... Слышу я, бегут несколько человек. Шепчут что-то за дверью. Опять окошко открыли.

— Кто тут?

— Откройте. Это я, Горянов... Федор Ильич, это ты? Недоразуменье...

— Я, я... Сейчас... Где ты?

Литераторы, голубчики, объясните матерям, предчувств-

зуют ли они беду своих детей или уж чаще всех бывают с ними, и потому так часты такие случаи, что произошел у нас тогда.

Еще бы секундочка, еще бы одно мгновенье, и капут Петруше. Как и чем я почувствовала, раскрыла намерение этого Федора Ильича, поняла его «...я, я... Сейчас... Где ты?», особенно его «где ты?». Как я успела оттолкнуть Петрушу в сторону, за угол сторожки? (Тут надо заметить, что опасность заподозрил и Петя, но в таком его положении у него не нашлось ни силы, ни духа, чтобы самому отпрыгнуть в сторону, когда этот Федор Ильич высунул в окошечко дуло винтовки и треснул, надеясь попасть в упор.)

Я помню, что успела не только отпихнуть Петрушу, но даже отгатила его до нашей подводы и впихнула его в тележку — такой он вдруг сделался покорный, как ребенок малый, — и уж тогда только поняла, что был выстрел, вспомнила, что, оттолкнув Петю, я закричала благим матом: «Отряд, отряд, сюда!» (хотя отряда никакого тут не было). И только тогда, когда уж сама села рядом с Петей, я почувствовала, что у меня горит правый бок, чуть повыше паха, что очень сильно течет кровь. Украдкой от Петруши я подняла правую сторону сарафана, залезла рукой и ощупала пальцами длинную рваную рану, словно бы мне не пулей, а крючком распороли бок. И тут же что-то обожгло мне тыльную сторону ладони, и тут же вдруг Петя встрепенулся:

— Мама, горит что-то?.. Мама...

Оказалось, что от выстрела загорелась моя ватная кофточка и тлела, испуская чад.

— Петя, Петруша, меня поранили...

Заводские нам так и не сдались, да, по-моему, заводские-то и подорвали нас, радость Петрушину омрачили, бодрость его засушили. Такие между Петрушей и заводскими установились отношения, что он словно бы боялся чего-то, робел перед ними, а кирпичники, наоборот, час от часу все напористей становились, все настойчивее. На третий ли, на четвертый ли день, как укрепились Петрушина в нашем городе власть, они до того осмелели, что в первом часу дня выступили со своего завода рядами, с винтовками, с флагами, с песнями и двинулись по городу.

Я в то время все еще лежала в больнице со своей раной, отсюда, из больницы, и слышала их песни, их крики. Как это здорово, как согласно они намуштровались кричать: все сразу кричат одно и то же, по команде уж, что ли, или уж

как по уговору? Чаше всего они выкрикивали про свое, про себя:

— Да здравствует диктатура ра-бо-чих!.. Ура-а-а!..

Как только я поняла, что дело приняло такой серьезный оборот, я тотчас же убежала из больницы, к Петруше.

До самого вечера они ходили по городу из конца в конец, и их не тронули. Только уже в самые сумерки их удалось Петруше выпроводить. Дело в том, что как только они появились в городе, стали требовать своей власти, кричать про измену эсеров и называть Петрушину власть контрреволюционной, товарищи его тотчас же потребовали от Пети разогнать их, обезоружить и разнести начисто. Но ни Петя, ни Мысягин-Клемашев на это не решились, а попытаться было тут же и завязать переговоры с заводскими.

Когда заводские опять вошли на Покровскую улицу, Петруша с Мысягиным и еще с кем-то опередили их и решили встретить их с балкона частной гимназии Корчагиной. На балконе они их и поджидали, с тем чтобы, как заводские поравняются, остановить их и сказать им речи. (Решено было их председателей допустить во власть, в комитет, в равной половине, с тем чтобы Петруша и Мысягин были во главе комитета.) Флаги красные нарочно установили на этом балконе, чтоб заметней было, чтоб увидели заводские, что тут их поджидают для переговоров. А кроме того, к ним даже нарочного известить об этом послали, и нарочному было велено передать, что их в половинной части берут в комитет. Да, впрочем, они и без нарочного все эти приготовления заметили.

Стоит на балконе Петруша с товарищами, ждет. Вот и заводские идут, покрикивают, то песню затянут, а тут, как стали подходить к гимназии Корчагиной, вдруг замолчали. Петруша свесился к ним с балкона и крикнул:

— Здравствуйте, братья-товарищи!

А из заводских ему кто-то в ответ:

— Гусь свинье не товарищ!

И тут же их передовой повернулся к их рядам лицом и, быстро пятясь, принялся во все горло рассчитывать шаг, как солдатам:

— Раз-два! Раз-два! Левай!.. Левай!..

Только и слышно, как они еще сильней застучали ногами по мостовой: тры-тры!.. Тры-тры!..

А главное, бабы тут и девки с ними, идут отдельно, позади, все в белых косынках с красным крестом и на рукавах повязки — красный крест.

Так ни на минутку и не задержались заводские у балкона. Словно бы и не слышали Петрушу и не заметили его. Только один какой-то парень выскочил из своего ряда, как поравнялся с балконом, задрал кверху морду, язык высунул Петруше да поддразнил по-ребячи: «бе-бе-бе...»

Вот уж после этого и решено было их припугнуть. Когда они пошли на Тележную улицу, а оттуда им неминуемо приходилось идти по Екимичьей, мимо казенного винного завода (завод этот с самой войны уж не работал, а служил военным складом), тут их опять встретили, но уж по-иному.

Вдоль всей Екимичьей улицы было рассыпано два наших отряда, так что в каждом уголке, в каждой двери, в каждом проходе находилось по два-три человека. А в окнах «разливочной» на заводе были установлены прямо на улицу дулами три пулемета. Кроме того, на большом заводском дворе была установлена одна-единственная в городе пушка трехдюймовая, та самая пушка, которую мы впоследствии прозвали «матрешкой».

Навели эту пушку, однако, в противоположную Екимичьей улице сторону и рассчитали, что шрапнель разорвется над лугами за Протопоповским парком. (Замечу в скобках, что пушка эта, «матрешка» наша, зарыта и до сих пор у нас в Журавинке. Об этом я расскажу отдельно от хроники заявление властям — где и что у нас было тогда зарыто.) Из этой нашей «матрешки» и бабахнули, как только заводские вступили на Екимичью улицу и стали приближаться к винному складу. И тут же застрекотали в небо из всех трех пулеметов. Стреляли, однако, по очереди, чтоб понятно было заводским, сколько перед ними пулеметов.

Заводские, как только слышали стрельбу и поняли, что их окружили со всех сторон, сразу же поднялись вплотную к винному заводу, выстроились в том же порядке вдоль высокой кирпичной стены, к которой прилегал узенький бульварчик, с тем, однако, намерением, чтоб в случае боя пробраться в запасные деревянные ворота и занять заводской двор.

Тут же они потребовали, чтоб к ним вышел кто-нибудь для переговоров. К ним пошел Мысягин-Клемашев, один. Как только они его увидели, тотчас же все закричали и подойти ему не дали:

— В кого стреляли? Куда стреляли? Почему стреляли?

Мысягин подошел к ним вплотную, остановился, насутился да и отрубил им, когда они затихли:

— Погоду пугаем. А то боимся, дождь бы не хлынул. Вам ну-ка ходить сыро будет.

Мысягин-Клемашев потребовал от них сдать все оружие, выбрать своих делегатов и разойтись по домам. Но они уперлись на своем: «Ни оружия не сдадим, ни делегатов не пошлем».

Их до темноты держали тут, у стены, в этом узеньком бульварчике. Все-таки Петруша и Мысягин настояли, чтоб кровопролития не затевать. Петруша все еще надеялся, что заводские одумаются, опомнятся, так как решено было сейчас же сочинить и напечатать прокламации под названием «Обращение к братьям-рабочим» и перебросить их к ним на завод.

Еще через день стало известно, что на наш город идет наступление большевистской Красной гвардии, очень большими силами, и что наши заводские установили с ними связь. Решено было тут же объявить мобилизацию во всех селах всех мужиков от восемнадцати до сорока лет и кто чем попало и как попало оказывать этому наступлению сопротивление и отстаивать город, пока в Москве левые эсеры не возьмут верх над большевиками.

Мобилизация эта прошла, провелаь как-то сама собой, очень быстро и очень дружно. Сразу было понятно, что каждому захотелось поживиться. Да и не скрывалось это: мы, дескать, по призыву идем, а сами мешки припасали. Целыми полчищами тогда приходили мужики из деревень в город кто с чем, кто как. Орда ордой: тут и лапти с онучами, тут и сапоги, тут и шапки, кепки, фуражки, тут и вилы, и винтовки. Откуда-то привезли еще шесть пулеметов (надо сказать, что наши хохловские тоже прислали пулемет и сорок гранат), а поплевенские — те, что сами явились было на большевистскую мобилизацию, — прикатили с собой орудие, которое, на грех, оказалось то ли испорченным, то ли не того размера, чтоб годились к нему наши снаряды.

Все эти орды записывались, учитывались, как могло быть учтено в такой кутерьме. Тех, у кого не было хорошего оружия, прогоняли назад, но они не слушались, безобразничали по городу и даже затеяли было раза два грабеж. Им приказ за приказом, строгость за строгостью, а они все свое. Вскоре эта орда с вилами да с топорами разнюхала, что на винном складе есть спирт-сырец. Тут уж все к горлу, как говорится, с ножом пристали: вынь да подай спирт.

— Наш спирт!

— Из нашего хлеба спирт!

— Для себя бережете! Сами попиваете!

Тут Петруша и решился, слыша такое нареканье да и то, что уж очень велик для этой орды соблазн спирт, выпустить весь сырец через очистительную трубу. Как на грех, реку в тот год мельник не запрудил, и она была до того мелководна, что водосточная заводская труба торчала из берега обнаженной. Ночью весь сырец — несколько тысяч ведер — и выпустили через эту трубу. Утром об этом пронюхали: оказалось, что на том илистом месте образовалось целое болото из спирта. Вся орда устремилась туда, там перепились все: взмутили все, получилась какая-то жижа, так и ее — кто ведром черпает, кто фуражкой захватит да прямо в рот цедит, а иные до того надрызгались, что тут же и ткнулись, в болоте, едва выберясь головой к сухому месту.

Кто поджег эту кашницу из спирта? С умыслом, спяну ли — кануло в вечность. Только вспыхнула вся эта кашница мгновенно. Словно бы взрыв. Все, кто был в болоте, тут же и остались на месте, тут же и сгорели дотла в этом окаянном синем огне, который со стороны едва заметно, но чувствуешь его жар за сто — двести шагов. Ни пожарная дружина, ни вода, которую пустили через ту же трубу, ничего не могли поделать.

Только расплылось еще больше, только запыхало еще страшней. Даже по реке, на поверхности, нет-нет да вспыхнет синее пламя, подожжит-подожжит да угаснет.

Орда же эта проклятая, словно белены объелась: нарочно, дескать, подожгла власть.

— А-а-а!.. Та-а-ак!.. Это так-то с нами поступают?

Тут и пришлось всю эту «мобилизацию» из пулеметов да винтовками разогнать. Так ведь не тут-то было, не за тем явились эти орды в город, не так скоро их выпроводишь! В одном месте разбегутся — в другом соберутся да опять за свое. Не город, а балаган, не власть, а «орда золотая». Ты — свое, а они — свое. Кто — в лес, кто — по дрова. Да в этом балагане и настоящая-то власть, укоренившаяся-то, не разберется.

Тогда вот и пришла мысль всей властью переехать в другое место — в село, а город бросить этой орде на съеденье.

Большевики же, оказалось, были хорошо осведомлены о нашем положении. Наступление на наш город было задержано или уж они сами задержались: ждали ли подкрепленья, решили ли уж, что мы сами захлебнемся в бурде, что у нас в городе царила.

Они, однако, вскоре после пожара прислали лично Петруше письмо, при этом они ухитрились письмо это всучить так аккуратно, чтоб только Петруша один о нем знал. Письмо их Петя прочел, сначала оно очень его чем-то встревожило, он как-то вдруг осунулся, взгрустился. Я попыталась было дознаться, что его так встревожило, так придавило, но он отмолчался и велел мне вызвать по телефону Мысягина-Клемашева.

Когда Мысягин пришел, Петя отдал ему письмо. Он прочитал его, разорвал пополам, швырнул в угол и принялся рычать на большевиков, как зверь. Но я сразу заметила, что хотя он и лаялся на большевиков, называл их гадами и жидами-хриstopродавцами, но письмо это осадило и его. По-моему, он даже и клял-то большевиков лишь затем, что с самого же начала, как письмо прочитал, понял Петрушин упадок и теперь решил своей бранью, своей непримиримостью ободрить его.

«Тов. Гостев-Горянов! Обращаюсь к тебе со следующими словами. Мы твое революционное прошлое знаем и учитываем. А только как ты поступаешь? Уразумел ли ты со своей кулацкой лавочкой, против кого ты идешь, кровь чью проливаешь и на чьей ты наковальне куешь?»

Против нас, рабочих, ты идешь. Убедился ты, как тебя кирпичники ваши встретили? И против крестьян ты идешь, хотя ты их около себя гуртуешь. Потому, что кулаки около тебя и под твою бирку закабаляют сызнова бедноту под себя. А ты ихним молотком стучишь. Так и знай. Брось ты всю ихнюю лавочку, уговори своих сдать. Кого не надо, мы не тронем, но, понятно, в горне вас малость погреем. Честно тебе говорю. А тут вот еще какую штуку мы тебе предлагаем. Сейчас на юг пробивается «дикая дивизия» в полном составе и во всеоружии. Мы ее трепем, как можем, но силенки и у нас жидковаты. А дивизия эта дикая идет по большаку, стало быть, прямо к тебе. Мы ее поневоле пропустили. Натрави ты, пожалуйста, всю свою орду на нее. Ей-богу, натрави! Прямо тебе говорю, что сердце кровью обливается, когда они мимо нас прошли со своими свирельками, а у нас только и силы, чтоб вас лишь бы причесать. Ты только подумай, что на юге этой сволочи собралось! Эх, Горянов-Гостев! По-свойски я тебе сейчас в морду бы закатушил. Натрави же, еще раз тебя прошу, свою орду на эту «дикую дивизию», черт бы ее слопал! С тем к тебе и нарочного послал.

Командир 117-го объединенного отряда московской Красной гвардии

Савёл Марченко.

Я же, если ты хочешь знать, Горянов, есть по профессии молотобоец, при царизме сидел в Бутырке, а брат у меня старший так и вовсе погиб на каторге».

Вот в чем первая вина моя, мое первое преступление перед политикой: это я воодушевила Петю. Упадок его, угрызенье, его потерянность сверлом сверлили меня. Давно ли, давно ли я видела его радостным, счастливым? Давно ли я любовалась моим бесценным героем, моим победителем — Петрушей? Понять ли, описать ли, сколько счастья пережила я в те короткие минутки, когда вся полна была гордостью, да еще какой гордостью, за сына?

Много ли в судьбину мою выпало мне таких мгновений? Мне ли их не ценить? Мне ли за них не цепляться?

Дикую дивизию у нас все-таки решено было «встретить». Был даже разработан весь план, как можно больше потреть эту дивизию. Условлено было встречу эту, засаду эту приготовить на Захуптском шоссе, которого им не миновать. Шоссе это — вымощенная высокая насыпь — тянется версты на три по очень низкому месту, весной заливаемому, — лучшее у нас в уезде капустное место. В этом месте на шоссе у нас построено восемь ли, десять ли мостов над глубокими проминами, а заканчивалась эта гать уж самым большим мостом через нашу реку и подъемом в город.

Все было очень ловко учтено: в крайних домах, на подъеме установить четыре пулемета так, чтоб они вдоль шоссе косили. Другие пулеметы укрепить на захуптской успенской церкви, верстах в двух от города, с тем, чтоб впустить главную часть на шоссе и с обеих сторон шоссе, по дворам, спрятать и отряды, и всю орду. Наметили было и со средними мостами что-то сделать, чтоб «дикие»-то эти очугились ни взад, ни вперед, а с боков кручь да широкие канавы водосточные, а тут и избы и палисадники, — не развернешься. А сверх того — и винтовки наши, и орда отпетая, среди которой собирались пустить слухи, что Дикая дивизия везет много золота, много всякого добра и что все это отдается тем, «кто что сумеет взять».

Само собой разумеется, что с переговорщиками на случай, если их пришлют к нам «дикие», установлено было «поломаться», потребовать сдать оружие, но «испугаться» и уступить им.

Помню, Петруша вернулся очень возбужденный с заседания комитета по этому вопросу и даже радостный, оттого, видимо, что он решился. Тут меня и подмыло:

— Надолго ли, долговечна ли эта твоя радость, Петруша? — Заподозрила я, старая лисица, капкан учуяла.

Хочу успокоиться: и так, и этак — нет мне покоя. Пахнет чем-то, скрыто что-то, готовится что-то. А ну, да как вся эта Дикая дивизия — приманка лакомая? Сунешься к ней — хлоп, и сиди в капкане, грызи железо? Не идет у меня из головы мое подозрение...

Чем дальше в лес, тем больше дров. Вконец залуталась я в своей подозрительности, не стерпела да и принялась за Петрушу.

— Ау, Петя, солнышко красное, а не в капкан ли тебя завлекает этот Марченко Савёл? Ты отряды свои соберешь с юга, встретишь этих «диких», ну пусть ты их потрелешь, пусть и поколотишь которых, но так ли, так ли легко они тебе дадутся в руки? Ужели они никакого вреда не сумеют принести нашим, ужели так просто и попадутся в ловушку? Или же им война в диковинку, и они про эти засады и слухом не слышали? Ну, пусть они привыкли, чтоб их пропускали, пусть не война и не так уж они насторожены. Ну, пусть даже попались в мешок, но резня-то будет. Силы-то наши они тоже потрепят? Высосут их. А Марченко-то Савёл того и ждет. Того ему и надо, чтоб сравить нас с «дикими», мы перегрыземся, истощимся а он — тут как тут. Ни клока шерсти не потерял в драке, а всего добился, все достал. Кому ты веришь, Петя, Петруша? Не тебя ли они ни за что ни про что вверзли в провокаторы? Не вас ли они обманули и от власти отторгнули? Петя, ай? Одумайся, соколик! Обсуди, как ладней, как тебе видней. Иль по-своему сделай, уж как наметили, как решили, только мне-то сердце успокой, мой-то страх уголи: посулить — не убыток, а Марченко хоть и посулил тебя не тронуть, только не тронут ли? Ведь не старший он начальник у них, чтоб приказать. Он не тронет — другие схватят, поведут расстреливать, а Савёл твой Марченко-то лишь и скажет: «Прости, Горянов, не я, а высшие начальники...»

Петю я тогда как громом поразила. Он — к телефону. Мыягину-Клемашеву, тому, другому, третьему... Через полчаса у нас весь комитет собрался.

И засада, и «встреча» — все насмарку. А на другой день к вечеру и «дикие» показались на Захултском шоссе.

Да еще как показались-то! Наши ждали, что переговорщики прискачут, в крайности разведчиков своих впереди пустят, меры какие-нибудь тому соответствующие примут, а они, эти «дикие», до того обнаглели — оттого, что власть ни та, ни другая не ахти еще укрепились, — прут напролом, словно на маневры едут.

Тихо вдруг в нашем городе сделалось, когда они зацокали, затарахтели по мостовой шоссе. Квартира Петина как раз на набережной, над сельскохозяйственным складом находилась. Я, помню, высунулась в окно, а они... вот они и «дикие».

Вереница их версты на три растянулась. И повозки, и орудия, и ящики зарядные. Все на лошадях, кони — один краше другого. По цветам, по мастям подобраны. Сами эти «дикие» все решительно в лохматых папахах, в черных бурках распахнутых, так что бурки у них не на плечах держатся, а на одних застежках, почти за спиной висят. На всех решительно — офицерские золотые погоны. Офицерье продажное, одно офицерье. (Уж, видно, нарочно для одной лишь подлости обнажили свои погоны.) У каждого в правой руке короткая винтовка стволом на седле лежит.

И дудочки, и свирельки, — оркестр их из дудочек и свирелей что-то шипит, бормочет, воет...

«Не стая воронов слеталась...»

После проезда этой Дикой дивизии наша орда словно бы учуяла Петрушину «слабость». Кто-то поджег интендантский кожаный склад, на пожар хлынула вся орда, и склад разгромили в полчаса.

Ночью наш комитет окончательно решил покинуть город и переехать в наше село. Журавинку нашу избрали потому центром, что Петруша, зная все наши окрестности, нашел ее самой удобной в смысле обороны: чистое поле с оврагами со стороны города, полустанка и железной дороги, другая сторона — река, болота и леса, леса на сотни верст. Тогда же сразу было заготовлено и напечатано особое объявление для народа, в котором оповещалось, что главным центром «временного комитета» избирается село Журавинка, которое отныне переименовывается в «Спиридоново», в честь борца и мученицы полицейского террора — Марии Спиридоновой, на которую Петруша мой тогда молился, как на святую икону.

Пока Петруша заседал и обсуждал свои дела, ко мне явился молодой парень, передал письмо и сказал, что

письмо это от командира московской Красной гвардии. Письмо было запечатано сургучом, в таком же конверте, как и первое. Я спросила у парня:

— А вы-то кто такой будете?

— А я, — говорит, — здешний, с кирпичного завода.

Когда Петруша вернулся домой и увидел письмо, он, как подстреленный, прыгнул к нему. Распечатал, прочитал, положил его тихонько на стол, а сам, словно бы ноги у него подкосились, опустился в кресло и окаменел.

Я подошла и заглянула в письмо. Всего две строчки:

«Горянов!

Попадешься к Савёлу Марченко — собственноручно пристрелю, как собаку».

И даже без подписи.

Тут-то поняла я, почувствовала, что на окончательное я подтолкнула Петрушу да и сама встала на край.

Я его тихонько погладила по голове, как это было тогда, когда он был маленький, родной мой, весь мой. Он не шелохнулся.

— Петя, — покликкала, — Петруша! Я пойду в больницу, лягу еще на денек. Перевязку уж два дня не делала, распух у меня бок сильно.

А он мне — грустно так, печально:

— Ступай, мама...

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I

Лежа в больнице, я и не знала, что наши этой же ночью наскоро эвакуировались из города. Лишь утром меня об этом известила старая сиделка Груня, которой очень нравился мой Петруша за свою «грусть», как она выражалась. Она же мне и объявила, что в городе воцарились заводские кирпичники, всюду они ходят с ружьями, патрулями и выпроваживают вон из города всю нашу оглашенную орду и что сразу же они до того крепко всех привернули, прикрутили, а погромщиков, которые начали было с рассвета тащить все с продовольственного склада, всех решительно окружили и куда-то увезли.

Не знаю, рана ли моя так меня растревожила, Петрушина ли неудача, только так я взгрустнулась, так запечалилась в это утро, что всю обиду свою сразу же на него, на Петю, взвалила.

Уехал, ускакал, а меня? Меня, ради него бросившуюся под пулю, на кого он покинул? Стены в больнице белы, мертвы. В больнице тихо, а главное — в больнице до того равнодушны все друг к другу, что нигде к себе такой безучастности не чувствуешь, как там. Позаботился ли Горянов о своей матери, подумал ли наказать, чтоб ее захватили и отвезли домой, или же и в мыслях у него о ней не мелькнуло? Иль уж обрек он меня в пленницы, в заложницы? Пусть, мол, лежит, старая карга, пусть смотрит из окна, как багряные листочки осыпают яблоны в больничном садике. Больно ли ей, тяжело ли от горя?

Да, тяжело, тяжело, Петруша, когда из бури всей, из всеобщей заворожки очутишься вдруг в тиши, в больнице, заблудишься да из окна посмотришь, как синичка какая-нибудь по голым веточкам молча ползает да последние листочки с легким хрустом срывает. А листочек этот, оторванный, летит на остывшую землю, вьется, трепещет, словно ухватиться хочет за что-то, словно бы прилепиться, прирасти хочет. Но нет! На землю, на холодную землю... и лежать ему там, и тлеть ему там, и не цвести вновь.

Вбегает в нашу палату Груня и мне на ухо шепчет:

— Прасковья, Прасковьюшка, никак за тобой идут. За тобой, за тобой!

— Куда же мне, Груня, куда?

— Беги в пужник, Прасковья, нет, так в ванну, а я их сюда приведу.

Только и успела я увернуться, слышу — по коридору, по каменным плитам подковами зацокали. Доктор спрашивает у нянюшки:

— Груня, Горянова в девятой? Проводи вот.

Только шаги удалились по коридору, я выглянула из уборной. Вижу — двое с винтовками пошли в нашу, девятую палату. Баба одна, а с ней мужик. Только гляжу, мужик-то знакомый, станина-то, одежда-то, походка-то притворная, украдчивая, знакомы мне. Тут они как раз в палату свернули, с боку-то я и увидела его, узнала его, курятника нашего, Захряпина-вшивика.

Я выскочила — и прямо в дверь, мимо доктора. Он испуганно так на меня посмотрел, потом в коридор заглянул — но ни звука, и в кабинет к себе юркнул. Слышу, в коридоре опять застучали шаги.

До темноты я скрывалась в Пригородной слободе, на Фофонке, у одного Петрушиного знакомца, так как заводские охраняли теперь все входы и выходы своими — и конными и пешими — патрулями. Едва ли не весь город кругом обошла я за ночь, как волчица из облавы, высмотреть лазейку и вырваться. Признаюсь, может быть, мне так казалось, что все решительно поднято теперь на ноги, чтобы меня прищучить. Мстилось, может быть, мне, мерещилось, что вот-вот сейчас я наткнусь на патруль и меня окликнут.

Всю-то темь-темную проедела я сквозь глазыньки: крадусь-крадусь, ползком поровлю, вот бы еще шагов сто — двести, и поле, и конец моему плену: вдруг покажется мне, привидится, что впереди в темноте стоят-маячат верховые и в меня всматриваются. Я — назад, да в темь, да за угол, — вот так, наверно, и влипают такие несмышленные, какой была тогда я.

Потом забрезжил рассвет. Как-то сразу я спохватилась, что уже рассветает. Правда, только еще мутнеть начало, но мне-то уже показалось, что совсем теперь светло и что уж на Фофонку к знакомому по такой светлыни мне не вернуться ни за что. Рассвет этот, эта светлынь, выдуманная мной самой от страха, меня застала у самых крайних хибар на Крючковской слободе. Кое-как я прокралась в один недоделанный сруб с заколоченными тесом окнами, забралась туда и решила выждать случая.

Десять ли минут, полчаса ли я тут просидела, вдруг слышу чей-то негромкий разговор. И все ближе, ближе ко мне. Сразу видно, что патруль. Ведь вот надо же было так случиться: всю ночь мыкалась из переулка в переулок, всю ночь бродила — никого не встретила (а может быть, и впрямь не было никого, и все эти подозрительные шорохи, верховых этих я сама выдумала), а тут вот едва лишь ткнулась — и патруль.

Их было трое, как я тотчас же определила по голосам. Они подошли к срубу, в котором я таилась, и сразу же облюбовали его своим пристанищем. Они расположились у

той стены, что выходила к полю: видно, и им это дело было непривычно, потому что тотчас же двое из них заспорили, можно ли на часах курить; оба тут же решили, что курить ни в коем случае нельзя, но через минуту перерешили и закурили, однако то и дело друг друга одергивая:

— В картуз. Картузом закрывай.

Третий из них, как я догадалась, был совсем пожилой человек, пожалуй, даже старичок. Очень, видимо, он робел, так как все жаловался, что и холодно ему («кровь, ребятушки, кровца уж не та»), и глаза его «все одно бесполезны, ребятушки», и все просился, чтоб ему те двое позволили «отлучиться». Но эти двое ни за что не соглашались его отпустить и упирали особенно на то, что почему-то, дескать, надо быть непременно троим, а почему — они и сами не знали. Словно бы опасность, которая могла с ними приключиться, разделится между ними поровну и от этого каждому достанется меньше.

А вот со мной-то что тогда приключилось? Пока ждала врага, пока он мне мерещился, дотоле он мне и страшен был. Потому, наверно, он и страшен мне был, что казался этот патруль чем-то необыкновенным, какими-то особыми людьми и уж, во всяком случае, не такими, как оказалось на деле.

Особенно я должна подчеркнуть это обстоятельство, потому что многое, быть может, и случилось (да и непременно случится и еще и еще с кем-нибудь, таким же, как я), случилось оттого, что большевиков-то, власть Советскую, я в те самые дни ощущала со стороны, как чужую. Со стороны она и мерещилась мне «верховыми в темноте» и представлялась мне чем-то грозным, безжалостным, чем-то всматривающимся в меня.

Таким вдруг мирным, обыкновенным показался мне этот страшный патруль, что первое время у меня появилось странное желание сойти к ним, о чем-то (о дороге, кажется) расспросить и пойти от них мирно, чинно.

До сих пор мне упорно кажется, что, выйди я тогда к ним, расспроси у них о дороге, и они бы мне все рассказали, как будто все обыкновенно, мирно и тут они вовсе не затем, чтобы задерживать, и нет им никакого дела до каких-то «подозрительных личностей».

Более всего странно, что я тогда в этом срубе, с забитыми окнами, уснула. Уснула как убитая.

Так оно и оказалось, что страхи, которые я пережила ночью, я сама же и выдумала, верховых-то этих сама себе навообразила.

Очнулась я, пожалуй, около полудня. Ни часовых моих, ни патрулей верховых. Уж не показалось ли мне, что ночью здесь были трое — старик и два молодых? Уж не во сне ли я их видела?

Вот и дорога. Да и изб-то близко от этого сруба нет. Сарай старые на месте использованных уже и заброшенных глиняных карьеров. Города отсюда не слышно, не чувствуется шума, брожения какого-либо там. Поле... Выжатое и опустевшее поле. А там вон лес. Уж багряницу накинула осень на него. Скоро лютый ветер наденет ему голый терновый венец. Вот, кажется, в этом поле, в багрянице леса и заключается все главное нашей жизни. А все остальное уж не сон ли, уж не кошмар ли мой?

Иду я большаком. Ни души кругом, ни звука, до села верст еще восемь. Одна-одинешенька. Надо мной по небу серый кобчик гоняет жаворонка. Уж очень много тогда кипенно-белой паутины летало. Когда кобчик пронесется недалеко от меня, я вижу на желтой груди у него белую тень паутины, белое ожерелье.

А у меня есть только одна-разъединая мысль: говорят, что когда жаворонка или перепелку ястреб загонит в отделку, так она старается лететь к людям и, выбившись из сил, падает к ногам. Вот и жаворонок этот мечется около меня, не улетает, но и меня еще боится. Но все-таки он сядет, опустится к моим ногам. Вот уже знаю — сядет. Верю я в это, крепко верю, хотя со мной ни разу еще не случилось этого.

Так и есть: едва-едва не сбил кобчик жаворонка. Еще раз, еще. Вот и у жаворонка на крыле повисла большая паутина, он тут же свернулся, упал к моим ногам, прямо в пыль, и распустил крылышки. И уж не летит от меня. Я нагнулась его поднять, он только лишь присел, еще плотнее прижался. Кобчик ушел к лесу, напрямую. Я отпустила жаворонка, и он исчез. И опять пусто да тихо.

Ну, не во сне ли все это?

Вон, вон наша Журавинка-Спиридоново. Только что же это? Воздух какой-то живой становится. словно дышит какими-то неуловимыми звуками, словно бы шелестит, чем ближе, тем явственнее. Вот уже выделяются какие-то настойчивые однообразные звуки.

Я уже знаю, что это. Я уже догадалась, но мне еще не верится, что проходит сон. Я еще не в силах очнуться от своего оцепенения, и мне все хочется думать, что так однообразно, так настойчиво трещит сухая жнива.

Вдруг земля вздрогнула или уж словно кто-то невидимый подкрался ко мне и сильно-сильно дунул над самым моим ухом. А там, в стороне нашего полустанка, в небе что-то застрекотало над полустанком. И тут же у меня над головой словно бы пчела гнусавая запела: «Пьяау...»

Кончился мой сон.

Петруша! Где ты? Жив ли ты?

II

Наши в этот день наступали на полустанок, завладели им и помешали высадиться какому-то эшелону войск, посланных против нас. Как только я узнала, что Петруша мой и Мысягин-Клемашев где-то на передовых позициях, я тотчас же, ломтя не перекусив, запрягла лошадь и ускакала их разыскивать.

Обоих их, и Петю и Мысягина-Клемашева, я разыскала очень поздно, в деревне Шереметьевке, что в версте от нашего полустанка.

Застала я их в передышке. Они, видимо, условились соснуть по очереди, так как Петруша мой лежал, не раздевая шинель и не снимая своего маузера, на деревянной колодке, а Мысягин-Клемашев сидел за столом со стаканом чая, который он, впрочем, не пил, а только лишь медленно крутил в нем синей оловянной ложечкой. Когда я вошла, Петруша мой едва приоткрыл глаза, взгляделся в меня, снова зажмурился и, не поздоровавшись, спросил:

— Как Николай? Все бредит?

— Не зашла я, Петруша. С дороги — прямо сюда. Неможется, что ль, тебе, желанный? Иль уж не поранили ли тебя?

А он мне только промычал в ответ:

— Мм...

— Ну, спи, ну, спи, родимый мой. Не буду, не буду.

Приезду моему обрадовался очень Мысягин-Клемашев. Так хорошо я на него, как свежий человек, повлияла. Ободрился он, повеселел, говорить принялся, начал мне рассказывать, как они сегодня «всыпали по самую...», как разнесло нашим снарядом один вагон и семерых этим взрывом

укокошило и что у нас только и урона что окон много по-лопалось в Шереметьевке от стрельбы из пушки, из нашей «матрешки».

Потом он стал свататься ко мне, уверял, что власть непременно воцарится наша, то есть левых эсеров, и что тогда он меня будет кормить салом, намазанным на сало, и от этого я буду такая же широкая, как и он, а Петьку-осла (то есть, Петрушу моего) мы будем одевать в коротенькие брючки и пороть, как родители.

Все шутил, все ржал, будто ни горюшка ему, ни заботушки. Даже дико мне как-то теперь вспомнить, как это вдруг за какие-нибудь десять — двенадцать часов времени человек, кажись, только что смеявшийся и от души шутивший и, казалось, совсем беззаботный, — как это он вдруг за эти короткие часы...

Впрочем, я опишу все подробно о Мысягине-Клемашеве, потому что уж очень показательна его печальная история. И, кроме того, не описать ее вовсе нельзя, так как он-то, Клемашев-то Мысягин, и переполнил горькую Петрушину чашу да и нашу судьбину этим своим поступком обозначил.

А то, что червоточина подъела их обоих с Петрушей, я заподозрила еще в городе. Но тут, встретив таким веселым и таким радостным Мысягина-Клемашева, тут, где начато все со свежего, не засоренного ордой, и начато прямо с победы, — тут, мне казалось, улеглись все их сомнения. И я решила, что роль моя теперь ясна мне и понятна. Быть мне неотлучно при них и ободрять их, воодушевлять их, быть мне им и мамушкой, и нянюшкой.

Я тогда же, учитывая такое радостное настроение Мысягина-Клемашева, решила вдруг солгать ему (сразу тогда мысль-то у меня возникла, от его веселого настроения, из шутки его возникла, и я твердо решила, что он и Петруша поверят мне, да и самой-то мне при этой бодрости Мысягина-Клемашева уже начало казаться, что не выдумала я, а действительно от кого-то слыхала).

— Эсеры, — говорю, — левые в Москве укрепились снова. По городу слухи такие.

Как же он закипел вдруг от этого известия! Как он ухватился за эту мою ложь! Петрушу растолкал.

— Петруха, — кричит он, — дуботолыще ты этакий! Вот тебе и молотобоец Савел! Осел ты этакий, центр взяли. Россия, вся Россия утвердила нашу правду. Черт! Фома ты неверный! Да я тебе все скулы раздроблю, если ты в нашей

идее, в правоте нашей еще раз усумнишься. Дубина, да разве примет теперь Россия неправную какую-нибудь власть?

— Ты откуда узнал?

— Вот спроси, осел вислоухий!

— Мама?

— Да, Петя. Да, желанный. Упорные слухи утром, сегодня уж.

Тут вот эту ложь мою они тотчас же в правду превратили. Надежду, укрепление себе тотчас же из этой лжи создали, хотя трезво-то, в душе-то, в глубине-то ни тот, ни другой не верили в это и все-таки ни тот, ни другой уж не в силах были отказаться от этой лжи, превращенной в правду, не в силах отхватиться от соломинки, которую я им бросила в страшный их водоворот. Настолько они эту ложь обернули в правду, что Петя встал с постели и принялся было писать воззвание.

А Мысягин-Клемашев все рычит на Петю, все про свое:

— Заикнись ты у меня еще хоть раз со своими сомнениями!

— Когда я тебе говорил? — вдруг спросил Петя.

Словно бы подстрелил он Мысягина. Ведь тут только и обнаружилось, что ни тот, ни другой еще ни разу не говорили об этом друг другу, еще ни звуком не обмолвились они о своих терзаниях, все еще таилось это, скрывалось, а теперь вдруг впервые всплыло. Оба они это поняли, оба почувствовали да и остыли оба тут же.

Петруша оставил начатый было листочек бумаги, на котором уже написал было: «Братья-товарищи», и опять лег на кровать.

— Ты что же? — спросил у него Мысягин-Клемашев.

— Завтра напишу. Проверим, — тихо отозвался Петя.

Тут застучали в двери. Петруша кликнул:

— Кто там? Ну, входи! Кто там?

— Шпеёна пымали ихнего. Куда яво?

— «Куда яво»... — тихо передразнил Петя и опять сомкнул веки.

С этого — «ихнего шпеёна» — и началось. Шпионом этим оказался местный шереметьевский мужик, лет тридцати пяти. Пасмурный он был, нелюдимый такой, и на сером, испитом лице его не замечалось ни страха, ни огня какого-

нибудь, ради которого он поступил в большевики и решился на такое отчаянное дело, как под носом у нас устанавить с большевистскими отрядами связь и притащить от них целую пачку напечатанных «приказов», которые, оказалось, он уже успел раздать мужикам.

Мысягин-Клемашев его спрашивает, а он сидит как пентюх, глаза потупил да со стола, не спросясь, таскает папироску за папироской и курит.

— У тебя сколько ребятишек-то, Иван? — спрашивает у него Мысягин-Клемашев.

— А што?

— Да как — «што»? Раз спрашивают, значит, надо, осел ты этакий.

Опять Иван молчит и опять за папироской тянется. Только и буркнул в благодарность за папироску:

— Пшенисная. Один раз я курил такую.

— Так, Иван, и не скажешь ты нам, почему ты с большевиками против своего же брата — крестьянина пошел?

Молчит.

— Ты, дубина, детей своих, видать, решил сиротами оставить через этот вот «приказ».

— А што?

— А вот что! Ты сам-то, кляп вареный, читал этот «приказ»?

— Читал. А што?

— Дубогол ты, вот «што». Наубрили тебя, ты и бубнишь — «а што, а што»? Да вот то, дубина, что по этому приказу выходит: все крестьяне — кулаки.

— Не все. А што?

— Как — не все?! Не «не все», а все, тебе говорят!

— Которые есть — подневольны. У вас от восемнадцати до сорока мобилизация.

— У «вас»?

— У вас. А што?

— И ты — подневольны?

— Я сумел. А которые — не вдруг.

Мысягин-Клемашев замолчал. Смотрел на него, смотрел, потом говорит:

— Жаль мне детишек твоих сиротами оставлять, Иван.

А тот опять ему:

— А што?

И опять за папироской лезет.

Увели этого Ивана, «ихнего шпеёна» (как на грех, его

отправили к нам, в Журавинку-Спиридоново, в «арестантку»). Мы опять одни остались. Петруша по-прежнему лежит неподвижно, — не то спит, не то думает о чем-то. Мысягин-Клемашев первое время, после ухода Ивана, все рычал на него, все бесновался. Потом успокоился, прочитал еще раз большевистский приказ, в котором нам предлагалось в течение шести часов обезоружиться и выдать «всех главарей кулацкого мятежа», посмотрел исподтишка на лежавшего Петрушу, но будить его, видимо, постеснялся. Потом посмотрел на меня, долго, пристально, и сказал:

— Вышло, Прасковья, что мы с твоим Петрухой — контрреволюция. Вот, дьяволы, хлещут!

Тут вдруг он не удержался, не смог дольше устоять, чтоб где-то в глубине души своей не признать своей вины, которая точила его. Он решил, помимо воли своей, как-то обелить себя передо мной, как бы оправдаться и доказать свою правоту и подтвердить ее, эту правоту свою, своими страданиями в прошлом, каторгой своей, которую он перенес при царе.

Он вдруг сдернул с себя один сапог, потом другой, стащил чулки и засучил штанины. Потом выставил, не поднимаясь со скамейки, обе ноги на свет ко мне. На цевках, чуть повыше лодыжек, я тогда рассмотрела широкие, в ладонь, шрамы, глубоко вмятые в тело, так что казалось, ноги в цевках непременно хрустнут при первом на них нажатии, — обе лапы отломятся и Мысягин-Клемашев останется на култышках.

Тут же надо заметить еще одну особенность Мысягина-Клемашева: такой здоровый, такой, казалось бы, зверюга бородатый, едва, бывало, заслышит похоронный марш «Вы жертвою пали», как тотчас же впадает в истерику, начинает рыдать, скрипеть зубами, громить кулаком об стол, обо что придется, а главное, уж и бросить, остановить это пение или там музыку нет никакой возможности, потому что он хоть и плакал, и стонал, и волосы рвал на себе клочьями, но требовал, чтоб продолжали этот похоронный марш, чтоб пели, и даже несколько раз при мне заставлял повторить куплет.

Нагрелися цепи от знойных лучей
И в тело впились змеями.
И каплет на землю горячая кровь
Из ран, растравленных цепями.

Мне все казалось, что истерика такая с ним приключится и теперь, когда он в знак непричастности своей к контрреволюции показал мне эти раны, растравленные цениями.

— А что это? Это что? — ревел он, выставляя ноги, как будто не я одна смотрела их, а весь народ, да и все большевики, перед которыми он, собственно говоря, и хотел оправдать, обелить себя.

До того вдруг страшно ему стало от сознания своей ошибки, непоправимой своей вины перед революцией, перед большевиками, что ничего другого и не придумал он в свое оправдание, ничего и предьявить не мог — кроме своих страданий кандалных при царизме. (А теперь мне, теперь смешно мне только: до чего это смешно оправдываться страданиями своими в прошлом, ошибки свои этим обелять. Ведь эдак и Шульц-младший вздумает оправдаться своими болячками, а за ним и любой царский урядник захочет оправдаться перед революцией, если при царе на него гонение было за то, что он не саблей и не пулей, а нагайкой расправлялся, ну, скажем, с забастовщиками.)

Да, наверно, и приключилась бы с Мысягиным-Клемашевым непременно его истерика, если бы вдруг не Петруша. Петруша, как только слышал его крики и понял, в чем дело, приподнялся на постели, посмотрел на минуту на Мысягина-Клемашева (удивленный такой), потом ласково и тихо покликнул:

— Алексей! Что с тобой!

Осекся Мысягин-Клемашев. Скоренько-скоренько он натянул свои сапоги, прямо без чулок, потом вспомнил о чулках, хотел было вновь переобуться, но вконец засовестился и сунул чулки в карман шинели.

Петруша мой слез с кровати и подошел к Мысягину-Клемашеву.

— Ложись, Алеша, — сказал он. — Теперь я посижу.

Мысягин-Клемашев без звука лег на постель. Петруша и мне приказал спать, а сам что-то принялся писать. Я хоть и послушалась и легла на печи, но не спала.

Часа два спустя, когда от рассвета посинели окна и когда я решила, что Мысягин-Клемашев уж спит, вдруг слышу его тихий шепот, совсем ему, казалось, несвойственный и для него удивительный:

— Петька!

— Что? Ты не спишь?

- Послушай, Прасковья спит?
- Не знаю. Наверно. А што?
- «А што»... И ты — «а што», как тот Иван-«шпеён»? Ты, Петруха, видел от меня еще когда-нибудь это — с ногами-то?
- Нет. Конечно, нет, Алексей.
- Ну, так вот. И сегодня ты не видел... Ладно?! Слышишь, Петруха?
- Спи, Алеша. Спи!
- Ладно. Сплю. Сплю, Петруха, сплю.

Утром на другой день начался наш «бородинский бой». Для нас он оказался, почитай, неожиданным-негаданным, потому что эшелон войск, которому вчера помешали высадиться, оказалось, выгрузился в другом месте и укрепился в селе Самарке, в пяти верстах от Шереметьевки. Не знаю, сумею ли я описать все обстоятельства этого «бородинского боя», учесть все тонкости его, так как от этих тонкостей, казалось бы и не столь важных на первый взгляд, зависело все решительно.

Наперед оговорюсь, что многое в самом начале этого боя зависело от того, что Савёл Марченко, получив подкрепление, собрал все свои силы в один кулак, полагая, вероятно, что этак он крепче ударит нас и сразу же сокрушит. Он, видимо, никак не ожидал, что сразу же очутится у нас «в мешке» и что из-за каждого угла его будут щипать наши «лопатники — метелочники» (о «лопатниках — метелочниках», через которых и названа наша заворощка «метелкиной войной», я тоже расскажу в свою очередь).

Еще на рассвете выяснилось, что почью этой работал у нас в тылу не один только «ихний шпеён» Иван. Оказалось, что во многих селах, даже и у нас в Журавинке-Спиридонове, за эту ночь на самых видных местах расклеены: и тот «приказ» Савёла Марченко, и его воззвание к бедноте, в котором говорилось, что с юга идут на молодую власть рабочих и крестьян помещики, генералы и черная сотня, и что здесь, в тылу, эсеры и кулаки приготовили предательский удар ножом в спину, обманывая бедное и среднее крестьянство.

Кроме этого запертого положения, в котором по своей же вине очутился Савёл Марченко, надо еще учесть их прожектор. Понятно, что вначале они нас этим прожектором напугали и даже обезволили. Когда многоверстный, клино-

образный луч прожектора их впился своим ослепительным глазом в нас и начал медленно нас ощупывать, когда мы увидели бледные в этом освещении свои лица и поневоле показались друг другу мертвецами, особенно когда этот луч вдруг поднялся к небу и осветил там переливы облаков, — всем нам показалось, что в этом прожекторе, в этом страшном луче заключена совсем необычайная, непобедимая сила. Страшней, чем орудия, показался нам этот прожектор. Так вдруг и зашептались наши (именно зашептались, потому что никто при этом, медленно нас ощупывающем луче не осмеливался заговорить громко), так и сказано было всеми в одно слово:

— Доигрались! Ну, теперь держись!

Многие даже успели расползтись из наших расположений и потихоньку скрыться. Даже Петруша с Мысягиным-Клемашевым выбежали из избы да молча и беспомощно следили за этим лучом. А беспомощное их молчание еще больше всех смутило и напугало: уж коли верховодцы заробели, то что же с остальных взять?

Когда я заметила Петрушину растерянность, беспомощность, мне вдруг захотелось как-нибудь испортить этот прожектор: вот так бы, кажись, пальцем выковырнула это проклятое, яркое бельмо.

— Петруша, — говорю я ему, — да двиньте вы в него из пушки! Может, бог даст, залепите в самую точку.

Тотчас же со мной согласились все, кто был поблизости, тут же все потребовали, чтобы непременно пальнуть из орудия, а когда Петруша уступил, целой толпой двинулись к пушке, не слушаясь никого.

Я тоже полезла со всеми, но помню, очень вдруг струсила, что у меня лопнут уши от выстрела. Когда начали крутить какой-то рычажок у орудия, я крепко закрыла уши ладонями, но тут же мне показалось, что от этого может быть еще хуже, вспомнила, что велят раскрыть рот, но раскрыть не успела, так как тут же пушка наша грохнула.

Ничего с моими ушами не случилось, а прожектор тотчас же потушили. Да тут же вскоре и началось с обеих сторон. А главное, наши ободрились и пуще того разошлись после своего страха. А тут еще кулачье ополчилось, что у них, мол, прожектор, что они там, городские, завладели всем, завладели одни, сделали чем-то вроде новых господ над нами, деревенскими. И уж раз на то пошло, то нет им, стало быть, прощенья и нет им пощады!

Еще одна заминка у нас вышла — с красным флагом. На заре, лишь только началась перестрелка и наши стали со всех сторон очень быстро подтягиваться к Самарке, к Петруше с Мысягиным-Клемашевым вдруг явился очень крепко вооруженный отряд, человек четыреста. Отряд этот был собран из наших хохловских отрубников, из таких же богатеев соседнего с нами села Лебяжья, были среди них и другие лица, совсем неизвестные, чужестранные, но сразу видно, что отобрались в этот отряд один к одному, с одинаковыми мыслями и что вся эта затея с отрядом готовилась у нас за спиной.

Командовал этим отрядом Шульц-младший со своим Саваофом, а явились они с черным флагом, сделанным из темно-синего сукна. Тут и вышла заминка. Мысягин тотчас же распалился, закричал, что у нас не может быть иного флага, кроме красного, и вырвал у Саваофа их суконный флаг. Шульц тоже распалился. Слово за слово, угроза за угрозой, мало-помалу и выяснилось, что у Шульца-младшего с хохловскими есть какой-то свой тайный план, который, впрочем, в тот же день вечером и всплыл наверх во всей своей красе.

Отняли у них суконный флаг. Только неужели им, этим живоглотам, доверить красный? Неужели они за революцию, чтоб им носить красный флаг — на том и раскорячились Петруша с Мысягиным-Клемашевым. Думали, гадали, а отряд стоит, а Шульц-младший вконец обнаглел, так и кричит, так и буробит что-то своим. Обезоружить бы их?! Да сунься поди к ним! Винтовки, два пулемета у них, гранаты почти у каждого — почитай, что самый вооруженный отряд из всех наших. Решились все-таки не давать им никакого флага и отправить их на самое опасное место, как только оно обнаружится, чтоб их как следует потрепали большевики. Этого им, само собой разумеется, не объявили, а только назначили их в резерв и велели готовиться к атаке врукопашную с гранатами, как только дадут им приказ.

Шульц-младший посоветовался со своими и увел их в том направлении, какое им указали.

Но как же на Петрушу да на Мысягина-Клемашева подействовал этот отряд? Правда, в тот же час еще не предвиделось такого злосчастного конца, никак не предвиделось, но глубоко, до самой души пронял меня Мысягин-Клемашев, когда он вдруг грохнулся животом на кровать, согнулся, точно штыком его кольнули, и завыл:

— Петруха-а! Петруха! Что мы с тобой заварили?!

Но тут Петруша подсек его.

— Молчать! — крикнул он и ногой топнул. Потом тише, но не сбавляя скорости, приказал: — Встать, смирно! Что это такое?

Мысягин-Клемашев поднялся и даже вытянулся по-солдатски перед Петрушей и даже ободрился, но уж тут-то я заметила, что оба они — и он, и Петруша мой — оба лежат на ниточке.

— Петруша! — захрипел Мысягин-Клемашев, почитай, сквозь слезы. — Осел ты мой этакий! Не буду я! Нет! Да разве я изменю своей партии? Да разве!.. Ах, Николка, Николка! Стар я, стар я уж, чтобы заново перелинять. Не буду, Петруша. Я не буду уж... Вот ты, ты-то как?

Я за кучера к ним вызвалась, и сама же их с Петрушей повезла к Самарке, в самое пекло. Вот тут, дорогой-то, я и насмотрелась на нашу «метелкину армию». Я уже объявила, что мобилизованы у нас были все поголовно от 18 до 40 лет, кто с чем попало. Не выходить вряд ли кто осмеливался, а уж вышли со всех сторон в поле, на Самарку, действительно «кто с чем попало». Наше оружие, вооружение этой нашей «метелкиной армии», собрать бы сейчас да в музей какой-нибудь поместить: вилы, лопаты, скрябки, косы, прикрученные к ручке в прямом положении, крючья, что солому дергают, остроконечные пешни на длинных палках, вроде пик. Уже не знаю, были ли на самом деле метлы у некоторых? Деревянные лопаты по крайней мере я сама видела (но видела у тех, кто, сцепив зубы, подчинился нам и теперь измывался над нами, осмеивал нас), а поискать, так и чуднее что-либо нашлось. Ну, куда, куда это «метелкина армия» высыпала со всех сторон? Куда лезли эти разнопестрые толпы? Отрядам нашим только помеха, путаница. Ведь только разве панику наводили, что, мол, шапками закидаем!

Ну, а если Марченко, этот Савёл, приказал бы палить и по нашим «метелкиным войскам»? Что бы тогда? Поле, землю бы унавозили нами, нашими костями и кровью, — и все. Одна только и польза от их сказалась: связали они большевиков по рукам и по ногам; прут прямо под пулеметы — мужики, бабы, девки, а ведь не из-за чего-нибудь, а просто из-за любопытства: идут кучками, тихо, вразвалку, пялят глаза вперед, разговаривают, спорят, а в одном месте какой-то солдатик собрал около себя мужиков — це-

люю толпу, ковыряет лопатой землю и объясняет им, что окопы лежачие нужно рыть не прямые, а в косом, слева направо, положении.

Любуясь, Савёл Марченко, на этих ослов-дураков из своих биноклей.

Я бы на его месте, ей-богу, ахнула бы снарядом, чтоб рассеялись все да и не мешали бы ни тем, ни другим.

Самый упорный бой завязался около самарковской церкви и у кладбища, что у них несколько на отлете, в середине, однако, села, около барского сада.

Здесь Савёл Марченко, как мы выяснили, установил большую часть своих орудий, а пулеметы укрепил в церкви. Сажень в ста от кладбища начинается крутой спуск к маленькой речонке, очень тенистой и вязкой. Лощина эта окаймляла все село Самарку с противоположной от железной дороги стороны и тянулась в поле, к Шереметьевке, разветвляясь на четыре более мелких, но очень удобных для нашего наступления прикрытия.

Наши отряды еще утром очень быстро продвинулись по этим прикрытиям и сразу же выбили из них красногвардейцев и подступили с этой стороны к ним вплотную. Но тут и засели в погоры, так как им на бугор к кладбищу и высунуться нельзя было вовсе: мгновенно же тех, которые попробовали было чуть продвинуться повыше, отсекали из пулеметов и из винтовок с кладбища из-за могил.

С противоположной стороны села бой происходил вдоль железнодорожной насыпи. Что там было, как — я не знаю, так как там я вовсе не была, а сразу же увязалась с Петрушей и с Мысягиным-Клемашевым сюда, к кладбищу.

Тут я и увидела воочию, что такое позиции. Только, помоему, что если все, что я увидела в этой лощине, описать, то уж верно будет похоже на какую-то страшную человеческую бойню. Две особенности я тогда за собой заметила: первая совсем, казалось бы, мне как женщине не свойственная особенность — это то, что я смотрела на убитых и на раненых совсем безучастно, совсем не замечая и не запоминая каждого в отдельности. Вот теперь-то мне яснее рисуется вся эта жуткая картина, особенно то, что все наши — и живые, и убитые, и раненые — были сплошь покрыты грязью и тиной: и лица, и шинели, и руки, и винтовки, а главное, что в этой грязи я почти совсем не видела крови,

разве только на том мертвом солдатике, которого я оттащила за ноги из воды, так как мне показалось, что он еще жив и, будучи не в силах отползти от воды, захлебывается в ней. Я его перевернула кверху лицом. В него, видимо, попало целой струей пуль из пулемета: переносица у него, челюсти и подбородок — все было сплошь искрошено, зубы висели на синих жилах, и из этих рваных клочьев текла очень жидкая кровь. Но и к нему, к страшному его лицу, отнеслась безучастно. Мне и думалось-то только о Петруше, о себе, а пожалуй, и ни о чем, потому что плохо, смутно я помню этот угар.

Вторую особенность я заметила за собой, когда возвращалась по этому догу назад с Петрушиным приказом, чтобы Шульц со своим отрядом явился немедленно для атаки. Я уже порядочно отошла от Самарки — и вдруг в одной межевой яме наткнулась на кучку наших солдат с винтовками. Здесь они резались в карты, в очко, как я определила. Я уже сразу сообразила, что они сдезертировали от боя, да и они, увидев меня и угадав, растерялись и тотчас же спрятали карты и деньги.

— Так-то, — говорю, — воюете-то? Хоть бы раненых шли носить.

Они мне — ни слова, и я отошла от них.

Тут я впервые посмотрела на небо. День был, как и вчера, ясный, солнечный, тихий. И вот диво: на солнце я смотрела, не щурясь, не закидывая глаз, ослепительный луч его не действовал тогда, как обычно, на мое зрение. Иль уж нервы мои были так вздернуты и потрясены, что на солнце я смотрела словно бы сквозь закопченное стекло.

Здесь, в тылу, я сразу же обнаружила, что Шульц-младший со своим отрядом куда-то бесследно исчез. Разыскать его я послала во все концы, но никто их проклятый отряд не разыскал. И уж в то время здесь, в тылу, понеслись первые смутные вести о тех большевиках, которые находились у нас, в Журавинке, заложниками. Правда, ясно-то более или менее мне удалось установить лишь одно: что хохловские будто бы сговорились всех своих заложников привести на позицию и послать их под самый огонь, как живое прикрытие. Я подумала тотчас же о Николае и о нем больше всего забеспокоилась и решила: как можно скорее известить Петю.

С этой вестью я и направилась старым путем обратно к Самарке. Но уж в полпути я заметила какую-то решитель-

ную перемену там: стрельба почти совсем прекратилась с обеих сторон. Лишь кое-где потрескивали выстрелы да изредка зачастит на минутку пулемет. Верстах в двух от Самарки я встретила Мысягина-Клемашева. Он как бешеный мчался верхом, что-то хрипел и, размахивая большим маузером на деревянной колодке, остервенело колотил им свою лошадь, и хотя я ему еще издали кричала и махала руками, он промчался мимо, не обратив на меня внимания.

Не успела я опомниться, как навстречу мне показались наши отряды — усталые, грязные, бредут безо всякого строя вдоль ложины.

Оказалось, что туда, к Петруше и к Мысягину-Клемашеву, попали самые точные известия о проделке Шульца-младшего и Саваофа и о злой судьбине наших заложников. Это известие их свалило окончательно, и оба они в один голос приказали нашим отрядам отступить по направлению к Шереметьевке и к Журавинке — к лесам.

Я долго стояла, пропуская отряды. Все надеялась, все ждала, что увижу Петрушу. В то время я не беспокоилась почему-то, что с ним могла случиться какая-то беда, что его поранят, убьют. Стояла и думала, что Петя, наверно, задержался из-за раненых, а пуще того — из-за чести, чтоб не показалось, что удрал впереди всех.

Но вот протащили и раненых, прокатили мимо обе наши пушки, вот уж все реже и реже стали показываться последние кучки отступающих, а Петруши все нет и нет.

Тут я впервые забеспокоилась. И все же я не подумала, что его убили, — нет и нет. Другое подозрение вдруг ударило меня в сердце: Петруша мой добровольно сдался Савёлу Марченко. Тут я поверила в эту мысль. До того она мне показалась вероятной, что я бегом, что есть силы, пустилась к Самарке, туда, к Марченко Савёлу.

Быть по-моему: вместе встану, вместе конец приму. Кому же, как не мне, быть с ним, с моим первенцем, в последний его час.

Спрашивала дорогой: где Петруша, не видали ли? Нет, никто не видел. Так, словно угорелая, я и влетела в Самарку. Тут же меня остановили их часовые и по моему требованию отвели меня к Савёлу Марченко. Я в полной, в полной была уверенности, что Петя уже там, что его уж допрашивает Савёл.

Взели меня в избу. Вот и Марченко Савёл.

Савёл! Марченко Савёл! Как я не грохнулась замертво, когда впервые глянула на него! Мысягин-Клемашев! Он! Он — как две капли воды. Только моложе разве на два-три года, только разве не такой уж волосатый. Савёл! Савёл Марченко! Да как же это братья родные не знали, что они друг против друга в ста сажнях в противных лагерях стояли! Да как же это все перепуталось, все перемешалось, что я — Горянова, а сын мой родной — Гостев, что Савёл Марченко, а брат его единоутробный Мысягин-Клемашев, а настоящая-то их фамилия оказалась Жапкины?!

Вместо того чтобы о Пете, о Петруше спросить (впрочем, я тотчас же поняла, что нет у них Петруши), я крикнула этому Савёлу:

— Брат у тебя, брат родной есть у тебя?

— Постой, тетя, погоди.

И голос, и голос — его, Мысягина-Клемашева.

— Есть, — спрашиваю, — брат: Мысягин-Клемашев, Алексей, Алексей?

— Постой ты, постой, милка! Есть, есть! Был. Алеша — был. Старший!

— Сейчас-то, — кричу, — сейчас-то знаешь ли, где он?

— По-стой, тебе говорят! Не кричи. Брат Алешка? Ну, был. Только умер на каторге он.

— Не умер, не умер! — кричу я. — Здесь он, здесь! И голос, и голос такой. Савёл! Савёл! Алексей-то не умер, а здесь, здесь он.

К вечеру, в сумерках, отправил меня Савёл обратно тем же путем и послал со мной очень короткое письмо брату, хотя все это время до самых сумерек он только и расспрашивал меня о Мысягине-Клемашеве. И до чего же, заметила, он был потрясен этим моим нечаянным известием! Расспрашивает, допытывает все подробности, все мелочи, а то вдруг оцепенеет на минутку, замрет, только, только, чувствую, с трудом, через силу так вот, закусит в себе все и едва-едва сдерживается.

А уж как рассказала я ему о шрамах кандалных и о том, что у Алексея бывают припадки, как только он похоронную песню «Вы жертвою пали» услышит, так и провало Савёла Марченко.

Уж, видно, недаром говорят, что большие люди, огромные то есть, они податливей маленьких на доброту да на слезы.

Два товарища его тут же в избе находились. Они все

слушали, слушали, а потом один украдкой, незаметно вроде, вышел, а другой ухватился за лоб и все расхаживал по избе. А когда Савёла Марченко прорвало, так и этот тут же выбежал.

Вот что он написал тогда Алексею Мысягину-Клемашеву:

«Милый Алеша!

Целую тебя, родной мой брат. Что же такое приключилось? Как ты там у кулаков в плену очутился? Милый Леня, жду тебя завтра же утром. И Горянову иного выхода нет. Тащи и его сюда. Мстить в нашем цеху не установлено во-все. По-моему, простят, и оба вы еще обмоетесь у нас. Я крепко уверен, что ты придешь, а не придешь — мы больше не братья. Милый Алеша, еще раз милый Алеша, и еще, и еще, и еще, и еще... Эх!

Целует тебя твой брат Савка».

Письмо это и посейчас у меня хранится (а теперь уже и не расстанусь я с ним), потому что хоть и скорехонько я тогда возвратилась домой, к себе в Журавинку, но все-таки я навеки опоздала.

Об этом я сейчас и опишу все.

III

— Кто идет? — окликнули меня из темноты, когда я входила в Журавинку.

Я сразу же по голосу узнала этого мужика, который стоял за часового. Пропуск наш очень длинный, я знала.

— Свои, Аким, свои. Не узнаешь?

— По правилу отвечай. При чем тут «Аким»? Может, и узнаю, но раз установлено по правилу, и отвечай по правилу. Кто идет?

— Свои.

— Верно! Куда идешь?

— Куда надо.

— Пропуск?

— Шуба.

— Проходи.

— Аким, Петрушу, Петю, не видал ли моего?

— Иди, иди. Там узнаешь. Накуролесили там — обо-
мрешь.

— Аким! Что там? Что там, Аким?

— Иди, иди! Разговаривать нам не приказано.

Вот с такой «подорожной» этого часового Акима я и бросилась бежать к своей избе. «Накуролесили!» «Обо-мрешь!» «Там узнаешь!» Что, что же меня ожидает? Что я сейчас узнаю?

В селе — ни души, точно вымерло все: и люди, и огни, и собаки. Темно, тревожно. Я, наверное, и без Акима почувствовала бы, что произошло что-то непредвиденное, тягостное.

Только в нашей избе и тлеет огонь. Первое, что я услышала и узнала, — это был глухой смех Николая. Не обычный его раскатистый смех, которым он в любой момент может перестроить душу с печального на бодрое, а какой-то упрекающий, злорадный даже смех. И смысл-то этого смеха я поняла тотчас же, как только заглянула в избу и увидела Николая на моей кровати, Петрушу, Михайлу Кренева. Сразу же я догадалась, что этот смех его означает что-то вроде приговора Петруше, или, если выразить словами: «Раскаиваешься ты, да уж поздно».

Говорил, однако, в тот момент, как я подошла, Михайло Кренив. У меня уж тогда развилось и укоренилось постоянное стремление — подслушать. Привычку эту я вовсе не осуждаю и теперь: подслушаешь коли и узнаешь, о чем речь, так уже не брякнешь за здравие, когда надо звонить за упокой. И здесь я приостановилась на минутку под окном: Петя дома, Петруша жив, значит, и душа на месте. Только что же, думаю, «накуролесили»-то? Как будто ведь все на месте.

— Я кулик — не велик, — рассуждал Михайло Кренив вполголоса. — И на кочках проживу. Мне, Николай Парфеныч не только лошадей, коров, мне и рубахи последней не жалко. У всех были, и у меня. Время это отошло, и мне не надо ничего. Вот мои ключи, вот замки, вот мои двери-ворота, а я на кочку. Здесь червячок, там корешок — день прошел, и слава богу.

— А ведь этак ты, чего доброго, и в партию к нам запишешься? — прогудел Николай и опять засмеялся, опять так же, не подобру, вроде уж не он у Петруши в плену, а Петя у него. И хоть смеется он над Михайлой, а смех его этот всецело относится к Петруше.

— В партию — нет, Николай Парфеныч, — лисит перед ним Михайло. — Я вот в мирные беспартийные норовлю. Это уж пускай партийные себе лбы-головы крушат, рубят. Им интерес есть. А нам какой?

Ох, думаю, иуда! Уж подлизался. Уж вот тут же, на глазах у меня, линять стал на другой цвет. Людей убивать ему, видите ли, роскошество! А Ефим? А Ефим мой? А на начальника продотряда кто натравил толпу? Вспомнила я еще к тому же, что Михайло, единственный из всех, отказался от нашей мобилизации, хотя ему не было сорока лет. Уперся на своем: «Не пойду — и конец, а убьете — не шубу сошьете», да так и не пошел. Ох, думаю, я тебя сейчас выворочу наизнанку перед Николаем да перед Петрушей! Тут же мне пришла мысль непременно вывернуть всю его иудину мошну, вытряхнуть все его иудины сребреники и погубить его, может быть, безжалостно. Потому я в тот миг особенно ожесточела, что вспомнила Петрушин страшный мне укор, тягостное его подозрение, что совместно, соучастно с Михайлой мы извели Ефима.

Вскочила я в избу и только хотела крикнуть ему что-то (не помню, не помню — что, да и невозможно запомнить через такую неожиданность), но спохватилась и осеклась, потому что увидела, что на лавке, очень прямо, вытянувшись, лежит, как я сразу по фигуре угадала, хотя он был накрыт с головой, Мысягин-Клемашев.

«Спит» — подумала я. Хотя сразу же я что-то такое заметила, что-то неуловимое, но очень, очень отличительное.

— Спит... — проговорила я шепотом, — а я ему новость, какую новость принесла.

Тут я хоть и не глядела уж на Мысягина-Клемашева, а подошла к Петруше, но еще больше, еще ошутимее заметила, повторяюсь: я уж прошла Мысягина-Клемашева, он теперь лежал у меня за спиной, и все-таки я как-то по памяти, по первому впечатлению заметила что-то очень, очень отличительное в позе Мысягина-Клемашева.

А Николай, а Петруша и Михайло смотрят на меня неподвижными, изумленными глазами. Во все глаза смотрят. И вот, помню, одновременно два ветра, две бури подхватили мою душу: и то, что-то очень отличительное, теперь вконец овладело мной и наполнило меня тревогой, и тут же решила, что изумленно так они смотрят на меня потому, что с Мысягиным-Клемашевым, должно быть, приключилась его истерика и он, наконец, успокоился и уснул, а я влетела как угорелая.

— Спит? — спросила я еще тише и опять повернулась к Мысягину-Клемашеву. И вдруг не на нем остановилось и сосредоточилось мое внимание, а на деревянном ящичке с

пустыми папиросными гильзами, что стоял на столе. Мне кажется, что то очень отличительное, что мелькнуло передо мной при первом впечатлении, как раз и был вот этот ящичек с пустыми папиросными гильзами.

Только теперь я первым делом остановилась на них и тут же нашла, а пожалуй, и тут же поняла, что именно случилось. В курительный Петрушин ящичек с двумя отделениями была поставлена только что начатая пачка гильз, коробка в 250 штук, мундштуками вниз, и вот я вижу, отчетливо вижу, что с одного боку нежные, тонкие ячейки гильз, прозрачные и чем-то похожие на пчелиные соты, вижу, что самые краешки чуть-чуть смяты, в чем-то запачканы, когда их распечатывали.

Я — ближе к ним, ближе. Теперь уже вижу, теперь уже поняла, чем запачканы кончики папиросных гильз. Кровь! Конечно же кровью их запачкал, пропитал Петруша, когда распечатывал.

— Да-а, — вдруг отрывисто проговорил Николай у меня за спиной, — он теперь спит.

Я рванулась к Мысягину-Клемашеву и сдернула с него шинель, которой он был накрыт. Вся его огромная, волосатая туша, от промокшей бороды до колен, была залита кровью. Поперек туловища, там, где кончается грудная клетка, его стягивал, как розовый обруч, наскоро положенный бинт, тоже пропитанный насквозь и совсем ненужный.

Прежде чем описать подробно, как все это случилось, замечу вскользь одну особенность: мучительный самообман бывает у людей, когда пристально смотришь мертвому в лицо: кажется, что он тебе мигает.

Шульц-младший, как потом оказалось, повздорив с Петрушей и с Мысягиным-Клемашевым из-за флага, ушел сначала, для отвода глаз, со своим отрядом и с проклятым Савофом на свои позиции, ждать приказа. Но как только бой под Самаркой разгорелся и нашим стало уж не до него, он и его отрядники вернулись назад в Журавинку, и здесь, в нашем «центре», они свергнули Петрушину власть и даже выбрали свой комитет.

Тут им первым долгом и подвернулся тот самый «шпейн» Иван, которого еще прошлой ночью Петя направил с конвоем, а его, на грех, водили-водили где-то, пока не угораздили в самую тошную минуту.

— Что за человек?

— Шпеён ихний.

— Шпион? Большевик? Эй, Саваоф!

Хлоп-хлоп — и поминай Ивана. А тут хохловские и про заложников вспомнили.

— Где они? Подать их сюда! Эй, Саваоф!

И на этих — знак. И этих — как не бывало.

Известие обо всем этом вскоре и передали Петруше и Мысягину-Клемашеву туда, на позицию. Тотчас же и приказано было нашим кончать битву и отступать. Но пуще всех разгорелся Мысягин-Клемашев. Где-то выхватив лошадь, он помчался на ней в Журавинку, прямо навстречу своей смертушке. Да еще и в дороге-то его постигла беда. Да и тогда, как он мне встретился еще в поле, как он колотил лошадь своим револьвером, я подумала, что не добром кончится эта его горячка. Так и оказалось. В пылу своем, в этом своем исступлении, он, ударяя лошадь, случайно вдруг курок и прострелил лошади грудь, сверху вниз.

Тут же и сменил лошадь и первым нагрянул в село да и накрыл Шульца и Саваофа и всю новую власть, прямо тепленькую, в управе.

Все они, как крысы, «брызнули» от него в разные углы. За столом-то только двое замешкались: Саваоф да еще какой-то, не нашего села. Этого первым уложил, а Саваоф и сам не промах. Тоже выхватил револьвер, да уж, видно, час наступил проклятому. В него-то и высадил Мысягин-Клемашев в горячке все патроны. Тот после первого выстрела под стол рухнул, так тут, как рассказывали, Мысягин-Клемашев присел и уж под столом продолжал решетить его. Так ему и надо, гнилому дьяволу!

Тут уж в окно он и Шульца-младшего заметил. Оказалось, тот, юркнув из управы, увидел лошадь, на которой прискакал Мысягин-Клемашев, вырвал ее у какого-то случайного поводыря, да, то ли со страху, то ли по неопытности, не вдруг на нее залез. Наконец кое-как повис. Мысягин-Клемашев как раз в этот момент и заметил его. Приложился — револьвер пустой. На горе, Саваоф, падая, уронил со стола свой револьвер. Его и сцапал Мысягин-Клемашев.

Хлоп — и Шульц уже справился, поскакал.

Хлоп, хлоп! — скачет Шульц-младший.

Мысягин-Клемашев на улицу через окно выпрыгнул. Еще раз хлоп! Потом секундочку, две ли постоял как бы в раз-

думье, опять поднял револьвер, а Шульца уж и не видно за бугром, и все-таки еще раз хлопнул ему вслед. И вдруг — как заревет, завоюет, да тут же в себя: р-раз!

Ой, ой! все, что угодно, но только не такой смерти. Не в сердце, а в правый бок, близко «под ложечкой» попала пуля, и около трех часов, в полной памяти, с раздробленными внутренностями, боролся Алексей Мысягин-Клемашев, родной брат Савёла Марченко, в своем последнем бою.

И пришлось мне неожиданно-негаданно обмывать огромное волосатое тело Алексея Мысягина-Клемашева. Мне, сельской бабе Прасковье Горяновой, довелось ворочать с боку на бок окоченевшую его тяжесть и снаряжать его в предвечный скорбный путь

Без церковного пения, без ладана,
Без всего, чем могила крепка.

А село наше и на рассвете не очнулось от того тяжелого сна, не ожило от той гнетущей тишины, которая стояла ночью, когда в темноте непроглядной таились наши часовые подчаски, таилась напуганная жизнь и в действительности-то никто не спал, а все чего-то ожидали. Темь, непроглядная осенняя темь! Сколькo, сколькo людей ждали наутро своего конца, навсегда, на веки вечные проиграв свою мужицкую победу. (Тогда-то я ведь крепко верила, что и на самом деле могла быть эта «мужицкая победа».)

А село наше и утром, при ярком, но уже остывшем солнышке, все еще таилось, молчало, не двигалось. Петя и Михайло куда-то ушли. Потом пришла на полчаса брjухатая Маня Казимилова, очень ловко перевязала Николая, поправила ему подушку (она за ним все эти дни ухаживала, а к Резцовым и глаз не казала) и ушла. Со мной — ни словом, ни взглядом. Я решила, что она снюхалась с Николаем, и хоть злорадствовала, что истасканная, брjухатая она ему досталась, но не по себе мне стало, но до слез мне сделалось больно.

Ушла — и Николай уснул.

Уснул ли? Иль уж со мной ему тяжело стало оставаться наедине? Но он притих, и хорошо, очень это хорошо, что он притих. Спал он, не спал — мне все равно. Вся я сполна, до краев души моей теперь была занята покойным Але-

ксем Мысягиным-Клемашевым, который вновь теперь, уж обряженный во все военное, лежал на лавке в переднем углу. Присела я к нему, гляжу на него. Вижу — чулок из кармана у него торчит. Чулок... чулки... Как снял их там, в Шереметьевке, так и... Алексей, Алеша, думалось ли тебе, где найдешь ты свой конец? Откуда ты родом? Чей ты?

Ты не наш, ты края нездешнего...

Кто всплакнет по тебе? Кто вскрикнет и обомрет в лютой скорби? Чужие руки обмыли тебя, чужие, не родные, положат в сосновую домовину. Кто, кто же выплачет твою горчайшую обиду?

Вдруг вспомнилась сказочка Петрушина, что он мне еще малюsenьким-премалюsenьким лепетал. И не сказочка, а путаница какая-то детская. И вот я одна, чужая Алексею сельская баба Прасковья Горянова, плакальщица, плакальщица, у которой уже давным-давно высохли все слезы, принялась вдруг лепетать, не обращая внимания на Николая, эту самую сказочку, этот детский вздор-путаницу, вместо нашего сельского причитанья. На улице — тишина, в избе — тихо, и я говорю мертвому Алексею тоже тихо да редко:

«Жил-был Старичок-буровичок да Старушка-вострушка. Ау, слышишь ли, родной? Старичок, говорю, да Бабушка-вострушка. Было у них полотенце холщовое, на нем вышит петушок — золотой гребешок. Ну вот, жили да были.

Вот приходит к ним Весна-красна в ситцевом платочке — голубое поле, лазоревые цветочки. В оконце поступчала. «Здравствуй, Старичок-буровичок, здравствуй, Бабушка-вострушка! Я Весна-красна. Подарите мне полотенце с петушком — золотым гребешком». Сказала и ушла.

Взяли старички полотенце, за порог выбежали, — пет Весны-красны.

Ау! Весна-красна! Ау... ау!

Нет и нет. Думали старички, гадали боровички и порешили посеять полотенце с петушком. Выкопали грядку и посеяли. И ну поливать его, и ну полоть, и взошло-расцвело полотенце голубыми цветиками, лазоревыми петушками — золотыми гребешками.

И выросла у них на грядке репка. Не большая репка, не малая, — с дом. Что с репкой сделать старичкам-боровичкам? Дергают ее — не сдернут, рубят — не срубят, а репка все толще, а репка все больше.

Тут Старушка-вострушка нашлаась: взяла да и облила репку кипятком. Ау, Алешенька, лопнула, сказываю, репка-то! И вышел из репки мужик-мужичок. Из полотенца — репка, а из репки — мужик-мужичок, неразумна голова.

— Здравствуйте, старички-боровички! Где мой дом? Где мне жить?

— Здравствуй, здравствуй, мужик-мужичок, неразумная голова! Вот тебе дом.

— Нет, старички-боровички, тот не мой дом, мал мне ваш дом. Свой я построю дом, из ветров построю, из воды, а облаками покрою.

— Строй, — отвечают старички-боровички, — свой дом из воды, из ветра, мужик-мужичок. Покрывай облаками, неразумная голова. Бог тебе на помощь!

Вот вырыл мужик-мужичок яму, большую-пребольшую, согнал в нее все моря, все реки, пошел ветра загонять, неразумна голова. Год прошел, другой прошел. Приводит мужик-мужичок ветра под уздцы: один ветер красивый, другой — синий, третий — зеленый, четвертый — голубой.

Ау, Алешенька! Голубой, говорю, четвертый-то был ветер. Голубой-голубенький.

Толк их, всех четырех, в яму. Глядит, а там воды — ни капельки. Пока ветра ловил, моря-реки разбежались».

Вот столько, помнится, и успела я ему рассказать свою притчу-сказочку. На этом и кончилась вся тишина и в селе и в избе. Народ бежит, крики, шум. Слышу, кричат:

— Приехали! Приехали!

Николай проснулся.

— Прасковья, кто приехал?

И я ему:

— Кто приехал, Николай?

Был у нас в селе подводный матрос Аниска Паршенков, молодой, бравый плясун. Он и в комбеде у меня самым верным был, он же лише других с большевиками бился вчера. Он первый и обнаружил, раскрыл ту непоправимую прореху в наших рядах, через которую все Петрушино дело оказалось пустоцветом.

Аниска этот первый нарушил строгие условия, на которых Петруша согласился впустить к нам в село Савёла Марченко с пятерыми своими товарищами за телом брата Але-

кся. (Только теперь я учла: до чего же Савёл Марченко обо всех наших событиях был осведомлен, тогда как мы о них ничего ровнешенько не знали!)

По условию, они допускались с оружием, но без патронов, а главное — никому ни с кем ни слова. Разрешено им было отвечать только на наши вопросы, чтоб не случилось агитации с их стороны. Это вот условие и нарушил наш матрос Аниска.

Пока Савёл Марченко договаривался с Петрушей в волостной управе, пятерых его товарищей наши окружили со всех сторон. Все они были с яркими красными бантами. Четверо из них — мужики из соседних сел (по-моему, нарочно таких товарищей привез с собой Савёл Марченко, чтобы наши воочию увидели, против кого мы идем), а пятый оказался тоже матросом, в форменке, в бескозырке, на которой была алая лента сверх черной, матросской. К нему и сунулся Аниска:

— Братишка, с какой ты коробки?

— Я — с сумбарины.

— С сумбарины?! С какой?

— С «Пантеры».

— С «Пантеры»?! Бра-атишка! Да ведь ваша «Пантера»... Да ведь я с «Рыси». Сам-то я с «Рыси»! «Рысь»-то нашу, чай...

Тут и прорвало его. Орет, вопит благим матом. Обниматься лезет.

— С «Рыси» я, браток, брато-ок, годок ты мой! С «Рыси» я! Кто же нас с тобой стравил теперьча?

А у того и вылетел слово-воробей:

— Эсеры да кулаки, вот кто!

Тут вот и завыли наши, тут вот и треснула вся наша армия на две половины. В тот день, после отъезда Савёла Марченко, у нас и произошла повальная расправа с хохловскими, с Аниской во главе.

Только меня уж в то время не было в Журавинке, и вместо всей этой расправы я опишу лучше свои последние часочки у родного, у насиженного гнезда.

Петруша дал мне распоряжение и о теле Алексея Мысягина-Клемашева, и о Николае. Сама же я и привела Савёла и его товарищей к своей избе. А за ними — целая толпа.

Все остались наружи, в избу со мной вошел один Савёл. Вошел, сразу же у дверей нарочно повернулся лицом к чулану, чтобы не глядеть в передний угол, где лежал покойник. Потом Савёл снял с себя фуражку, повесил ее на гвоздь, замер да и остался так стоять, не оглядываясь.

Я про Николая ему говорю:

— Приказано вот этого товарища, Николая Парфеновича Лебедева, с тобой, Савёл, отпустить.

Точно разбудила я его. Он мгновенно повернулся к мертвому брату и спросил шепотом:

— Он?

— Он, — тоже шепотом ответила я.

Савёл медленно подошел к мертвому, осторожно, одними пальцами потрогал его лоб, потом руки, сложенные на груди, опять выпрямился — и застыл, не спуская глаз с брата.

Все делалось молча, хоть и большая толпа глазела на улице, но событие всех придавило, и все молчали.

Пришла Маня Казимилова, закутанная в свою черную шаль. Михайло Кренев подъехал на большой рессорной телеге, на своей лошади. Я молча разостлала на ней свою огромную перину и подушки, на нее перенесли и уложили Николая. Маня Казимилова поправила подушки, чего-то шепотом спросила у Николая, тот улыбнулся и кивнул ей.

Она села рядом с ним, а Михайло — по другую сторону, за кучера.

— Сам отвезу, — тихо проговорил он, не оглядываясь на Николая. — Сдам на руки, а там хоть и казнить меня велишь. Кулик — невелик...

В избу вошли люди поднимать покойника. Я снова вышла на улицу, за мной следом вышел и Савёл, забыв фуражку. Товарищи его стоят тут же у дверей. Немного поодаль — наша беспорядочная толпа. Молчат...

Савёл все время глядит в открытую дверь сеней. Слышно, как в избе поднимают и несут что-то очень тяжелое.

— С головы, с головы бери, — сказал кто-то басом.

Несут... Вот в уровень человеческого роста показывают из двери ноги Алексея.

Савёл вскинулся, отчаянно затряс головой и опять оцепенел.

Конец третьей части этой хроники написан Прасковьей Горяновой совсем не в плановой последовательности, как первые части. Вернее, она ею не написана вовсе, если не считать отрывистых, разрозненных записей, которые мы здесь приводим.

Одна из этих записей, которая почему-то выделена под особый заголовок — «У Петрушиной могилы», вдруг обрывается восклицанием, обнажающим всю боль ее, тяжкую обиду, а главное — неуверенность, боязнь создать теперь снова картину прошлого, боязнь вызвать в своем тюремном заключении призрак этого минувшего.

«Не могу я больше писать об этом! — восклицает Прасковья в этой главе — «У Петрушиной могилы». — И не хочу я теперь вспоминать. Чего же ради мне беречь мой страшный нарыв, который теперь уже вскрыт, выдавлен и забинтован! Я раскорячилась, уцепилась, думала, что вся жизнь уперлась в меня, в бабу-дуру, ожидала, что церемониться она будет со мной, уговаривать меня начнет, как невесту богатую: «Встань, Прасковья, поди, касатка, поди, родная». А она, жизнь-то, обошла меня, отвернулась от меня, а пожалуй, что и вовсе не заметила меня, раскоряченную дуру».

У Петрушиной могилы

Тишина, которая царит сейчас у меня в камере, до того мне тяжка, невыносима, до того она напоминает мне тогдашнее мое одиночество, когда увезли Алексея Мысягина-Клемашева, когда тут же вскоре в сенцы вошел Петруша и вызвал меня к себе.

Одет он был уже не в военное, а в сермяжное полукафтанье, на нем были широкие солдатские сапоги и, что совсем отличало его и выдавало с головой, — это большая бобровая шапка.

Я сразу же догадалась, что Петя решил скрыться, что все наше дело окончилось, отцвела наша безрадостная весна.

Только — шапка! Зачем же такую шапку, бобровую, отличительную, выдающую с головой, надел на себя Петруша?

— Петя, — говорю я, — зайди, родной, в избу.

— Нет! Все равно, мама, тут.

«Все равно!» «Все равно!» Вот именно, что все равно уже стало ему теперь.

— Петруша, — спросила я, — как же тут-то? Орудия всякие, все?

А он мне... Только и всего:

— Э-э, мама!

Да и я-то вскипела на это его «Э-э, мама!».

— Зачем же было затевать все? Чем же оправдать все кровопролитие?

— Оправдать? И оправдывать не нужно, мама. Ведь нельзя же, чтоб сто тридцать миллионов крестьянства так вот сразу.

Чего — «сразу»? Как понять эти его последние слова? Да уж и мне в тот час не до расспросов было.

— Петруша, — говорю я, — ты как хочешь, а я тебя благословлю. Зайди в избу. Там ведь лежал твой отец.

— Что же? Благослови, мама. Только... не надо, не надо в избу. Тут...

Но ведь какие извороты имеет жизнь! Мне вот писать и вспоминать о том, как скрылся Петруша, ушел невесть куда в своем сермяке и в бобровой шапке, а жизнь-то, а постороннее-то как раз до того противоположно всем моим настроениям, что и смешно мне, и срамно.

На тюремном дворе у нас в эти дни настоящая комедия представляется арестантами. У нас есть лошадь тюремная и осел. Арестанты пронюхали, что кобыла наша — в охоте. И вот, как только с водой приедут на двор, тотчас же арестанты тащат к лошади нашего осла и хотят его случить с кобылицей. Подсаживают его, подталкивают, а он орет, вопит.

Иль уж у жизни вся мудрость к тому и свелась, чтоб осла с кобылой случить?

Говорят, что от осла с кобылой родится лошак, а уж от лошака не родится никто.

После ухода Петруши вошла я в опустелую избу да и сразу почувствовала, что ничего-то мне теперь не осталось. Уходить, уходить и мне надо. Куда? Куда? «Все равно». Уходить, да и конец.

Только замечу: не найдется ли у кого такой силы, такой силы, такой решимости, чтоб, покидая свой дом, гнездо свое, не утащить зачем-то, к чему-то хотя бы соломинку, хотя бы пушинку.

А что мне было взять? Не мило все, не нужно все, чужое все. А взять все-таки нужно. И все-таки я взяла.

Когда Алексея Мысягина-Клемашева поднимали и выносили, то опрокинули Петрушин ящичек и рассыпали папиросные гильзы, запачканные в крови. Этих гильз-то я и подобрала с полу десяток и сунула себе за пазуху. Потом пошла к двери и в последний раз оглянулась.

Тут я заметила на чулане, на гвозде, фуражку Савёла Марченко, которую он забыл.

Я вернулась, сняла ее с гвоздя, отрезала большой ломоть хлеба, посолила его, сунула в картуз и вышла из своей избы.

Хотя растерянность мной вконец овладела, я еще не знала, куда мне идти и зачем именно куда-то мне идти, хотя я в тот же вечер, покрутившись без толку по полю и по лесу, снова вернулась и, между прочим, зарыла нашу пушку «матрешку», — но уж в избу я не заходила больше да уж и не к чему было приставлять отрезанный ломоть.

Да и описывать совсем не стоит те несколько лет, которые я бродила по свету нищенкой и сестрицей христовой, на чужих хлебах, по чужим ночлегам. Да и какой смысл был в этом моем бродяжничестве! Разве только лишь то, что казалось мне все время, будто я никому и ничему не подвластна, ни от кого не зависима. Иногда мне даже казалось, что только таким способом, то есть бродя каликой перехожей, где слезами, где хитростью вымаливая себе кусок хлеба, только таким образом и могут люди окончательно раскрепоститься от всей зависимости и обрести хотя и горькую, но настоящую свободу.

На первых порах моего бродяжничества у меня не было никакой цели, а так... иду-бреду полями, лесами, перелесками — того лишь направления и держалась, чтоб ветер не дул в лицо.

Да уж, видно, не может быть так, чтоб человек бесцельно куда-нибудь брел. Вот и у меня появилась цель. К Горяновым я была выдана от Ереминых. Ереминых была всего лишь одна семья в селе, и та вскоре после моего замужества переселилась в Сибирь, куда-то в Канский уезд.

Я так и решила, что и Петруша мой не иначе как туда возьмет направление. Вот и запало в голову мне. Пешком, с мешком да с посошком брести в этот самый сибирский Кан-

ский уезд да и поискать, не осталось ли там кого из моих родных и не там ли мой Петруша. Да и двинулась напрямик, по-птичьи, к этому Канску, до которого от нас, почитай, пять тысяч верст.

Но помню, что я сразу же уверилась, укрепилась этой целью. Думаю: и родные там, и Петруша там, там же и выждать, когда осядет вся эта баламута. Да там же и начать новую жизнь, там же и привиться сызнова. Через два или три дня, как у меня возникла эта мысль, мне до того казалось возможным именно оттуда начать сызнова жизнь и там обрести благоденствие с Петрушей и там уже осуществить все мои думы-думушки, что я даже сумела подать Михайле Кренину письмо и в этом письме просила его охранять по возможности все мое имущество, наперед зная, что Михайло уцелеет.

Тем же днем, каким я отослала письмо, я и услышала впервые тревожную весть о Петруше, и весть эта сразу же переменяла все мои карты, все козыри.

Письмо Михайле Кренину я отправила из города Р-га. Здесь же я решилась переночевать да и выпросилась на постой к одному железнодорожному будочнику, и от него я узнала, что Петрушу схватили сегодня на рассвете, когда этот будочник осматривал путь, расстреляли около монастырского моста и тут же закопали, в лощине.

Будочник, понятно, не знал, что схватили и расстреляли именно Петрушу моего, да и мне самой как-то не верилось, чтоб Петруша поддался и не успел скрыться. Сомнения мои, однако, растравили два подозрения. Петя, пережив крушение всех своих верований и упований, сам сдался, а еще, как рассказал будочник, расстрелянного будто бы уличили в том, что у него на руках была бумага якобы от большевиков, в которой указывалось что-то о 500 штук кос, но будто бы он стал собирать по селам не косы, а косцов, для косьбы какой-то отавы на каких-то лугах.

Я и вспомнила, как в начале самой заворошки Шульц-младший подделал какую-то бумагу о 500 косах. Решил, думаю, мой Петя снова набрать из мужиков отряд, чтоб поправить свой провал, а уж между левыми эсерами, думаю, заранее было условлено, что набирать косцов должно означать набирать отряд.

Хотя я, ночью лежа у будочника, пришла в конце концов к полному убеждению, что Петя мой расстрелян и зарыт, но настолько опустошили и измучили меня тоска и тяжба,

что не вспыхнуло во мне такое отчаяние, которое охватило меня, когда умерла Полечка.

Как-то уж примирилась я. Я было попробовала себе вообразить, как, каково держался мой Петя в последнюю секунду, что он пережил, перечувствовал, сразу ли его, или добывать пришлось, пыталась даже, крепко зажмурившись, вызвать видение всей этой страшной его кончины, но в глаза мне лезло что-то совсем постороннее, несуразное.

Мне, например, очень надоедливо мстился один большой яркий плакат, который я долго рассматривала этим днем на почте. Плакат назывался «Враг наступает». На огромной картине была изображена пылающая деревня ночью, со всех сторон окруженная всякой сволочью, вроде тех, что я видела в Дикой дивизии. Злобные, оскаленные хари золотопогонников тянут свои когтистые, крючковатые ручищи к какому-то мужику, очень похожему на того «ихнего шпеёна» Ивана, которого прикончили у нас хохловские. Этого мужичка защищает крепкий, широкоплечий человек, с большим молотком в руках, которым он взмахнул с последней и сокрушительной силой.

Эта картина и мстилась мне. Эти мертвые, неподвижные фигуры и лезли в глаза, когда я пыталась вызвать видение Петрушиного конца.

Уж, говорю, примирилась я как-то.

Только пустота в душе образовалась страшная. Ну, что же мне теперь осталось делать на земле? Да если и придумала я, что мне делать, так чего ради, во имя чего мне что-нибудь надо придумывать и делать?

Пустота, тупая пустота на душе моей была и утром, когда я чуть свет расспросила у будочника все и пошла по направлению к монастырскому мосту на Петрушину могилу.

Вот и могила. Свежая могила. Свежая желтая глина, засохшие куски дерна, маленький бугорок, аршин ширины, аршин длины, — втиснули, верно, комком в эту яму, вот свежий холмик. Но сколько, сколько же ужаса скомкано там, на дне этой ямы! Ужаса этих «последних минут» человеческой жизни: последний путь, последние взгляды и ожидание, предчувствие самого последнего мгновения перед тем, как вонзится и сразит пуля.

На могилу эту я смотрела с моста сверху. А вниз, к ней, не подошла. Потому, что почувствовала вдруг, что фальшивит чем-то моя душа, и переживания мои тоже фальшивые, придуманные, что далека я, совсем далека от того, что

я перенесла около Полочки. Чувствую, что я не переживаю тоску и отчаяние, а только рассуждаю о тоске и отчаянии, глядя сверху на могилу. Горя-то, отчаяния-то нет у меня, а только рассуждения о «последних», «последних», «последних».

Не Петрушина это могила! Не Петруша мой брошен в эту яму и засыпан холодной глиной и сухим дерном! Меня даже вот и не тянет к ней, вниз, под мост. Так ли было с Полочкой? Там, на Полочкиной могилке, я каждую травку, каждый корешок, каждую землинку чувствую, что это — моя, родная, неотъемлемая часть.

Или, может быть, оттого с Полочкой все было по-другому, что там я сама, своими глазами, глядела на ее плохо закрытые глазки, сама, своими губами, ощутила липкий холод, оторвавший ее от меня окончательно?

А Петю, Петрушу я не видала. Может быть, поэтому мне и кажется, что не его это могила и не он в ней. «Не он»! А если он? А если его здесь кончился последний шаг и самый последний миг?

И вот я, мать, смотрю с моста на его могилу, как на чужую, и не подбегу и не обниму этот бугорок и не разрою своими пальцами эту яму, не сброшу с тебя этой страшной тяжести, которая придавила тебя там, на дне.

Часов в десять утра я в монастырь прошла, в монастырский дубовый сад. Таких дубов, таких великанов суковатых, я нигде больше не видала. Листья на них уж высохли, но не опали, и шумели они по-мертвому, точно бы они железные.

Там, в монастыре, жил один старик, которому было 106 лет. Он прославился за наставника, за утешителя душ. К нему-то и посоветовала мне будочникова жена преклониться в моем одиночестве.

В монастыре я узнала, что старец этот занят чем-то. Я решила, что он на молитве, и, поджидая его, пошла бродить по открытым, заброшенным часовням. В одной часовне, которая изображала «темницу», я увидела чучело Иисуса Христа, в бордовой ризе, с терновым венцом на челе. Помню, что у меня закралась было мысль поднять ризку на нем и посмотреть, полюбопытствовать, все ли как следует сделано у этой статуи. Я было уже и потянулась, но вдруг мной овладело какое-то неприятное чувство, потому что уж очень напоминал Иисус Христос во мраке этой часовни застывшего покойника.

А тут и голоса чьи-то слышались снаружи. Я вышла да и села невдалеке, поджидая своего попаика.

На мое место в часовню полезло четверо каких-то ребят. Не прошло и десяти минут, смогрю — старец мой, крохотный пони́к, как из-под земли передо мной появился. Ростом он был чуть ли не в пояс, хотя совсем не горбился, в длинной запачканной ряске, с удочкой и со связкой пискарей в руках. Что чуднее всего, так это кожаный картуз, который был на нем вместо камилавки. Длинная седенькая борода у него была заплетена в косу и, как хвостик, закручена ленточкой в узелок у самого подбородка.

— Что, мать, за советом пришла? — закричал он своим ребячьим голоском, пристально вглядываясь в меня и определяя, что я и кто я. — Какая тебя дура прислала ко мне? Думаешь, я святой? А я и в бога-то не верю. Тьфу мне на твоего бога! Моложе был — дурак был, верил. А теперь — тьфу, тьфу, тьфу! Небось думаешь, власти боюсь, вот и отрекся. Как бы не так! Тьфу мне на твою власть! Поняла? Иди теперь, дура, иди.

И сам пошел прочь от меня. В это время ребята, которые только что вышли из темницы от Иисуса Христа, остановились у ворот этой темницы, и, как только попи́к поравнялся с ними, зашлепали хором:

У попа-то рукава-то,
Батюшки!

А попи́к вдруг опередил их да и закончил песню своим пронзительным голоском:

У ворот-то дураков-то,
Ма-тушки!

И тут же закричал на них:

— Ну, что? В темницу ходили? У Христа ризку поднимали? Пипку у него видели? Ну, есть у Христа пипка? Что?! Есть? А папироску вставили ему в губы? Забыли? Врете: вставили! Ступайте теперь вон! А ты... Эй, мать, где ты? Иди сюда, мать, поди сюда.

Я подошла к нему опять, а ребята сконфузились да ушли. (Этот попи́к и в самом деле угадал: папироску-то ребята Иисусу Христу в рот действительно воткнули, и, когда я потом, чтоб проверить прозорливость и сообразительность попи́ка, заглянула еще раз в часовню, то папироска эта напомнила мне картину в Кузьмином доме, зверину, у которой в зубах тоже была вставлена сигарка. Как ни разные люди, а есть у них одинаковые наклонности.)

Подошла я опять к попику. Вот тут он меня и поразил:

— Чего, мать, глаза-то опустели у тебя? Попусту опустели. Думаешь, твоего расстреляли? Нет. Не твоего. Такого тебе не родить. Сам видел. Сам подсмотрел. Не твой. Не от тебя этот. И фамилии такой у тебя нет, как у того. Шульц, по фамилии. Ну? Такая у тебя фамилия: Шульц?

— Шульц?!

— Шульц. И фамилия дурная: Шульц-Жульц, Шульц-Жульц. Ну, иди, мать, иди. А нет, так пискарей пойдем жарить. Тсс, мать! Я у долгогривых вчера сала украл. Пойдем жарить пискарей. Брюхо-то небось ссохлось? Не твой, не твой. Вишь как глаза-то зацвели у тебя опять! Мужики небось на тебя слюной исходят, какая ты. Ну, идем, пискарей жарить.

V

Началось с пискариков у нас, а кончилось тем, что я захворала тифом да и зазимовала у этого чудесного попики в его конурке, да и прожила я у него до самой его внезапной и нелепой кончины.

Он и подытожил всю мою жизнь, подвел меня к моей точке и утвердил ее.

Вся эта зима мне теперь вспоминается так, словно я прожила ее где-то в снежной пустыне, в ледяном шалаше, замеченном сугробами.

Что меня присушило к этому старику? Слабость ли моя после болезни, то ли, что он выходил меня от смерти и каким-то чудом доставал для меня всякую снедь и даже баловал меня очень хорошей снедью (замечу, что он ухитрялся как-то раза два получать от какого-то учреждения паек — хлеб, куриные потроха и ржаную крупу — за то, что высказывал на митинге речь против бога. Его какой-то чудака ради смеха выпустил, а он к этому приценился да и выклянчил себе подачку). Оттого ли, что у деревенских в природе — что спрятаться где-нибудь в конуре да выждать, или уж старостью своей необыкновенной, жизнью отменной своей он сумел удержать меня? Да еще мало того — удержать; он смог покорить меня, сделать чем-то вроде своей прислужницы и заставил даже полюбить не только его непобедимые речи и песни, но и разные его старческие привередни.

Излюбленная его привычка — мыть его в кадке, на соло-

ме — и в меня вкоренилась незаметно. Так это он сумел все обстряпать, что она вскоре стала и моей привычкой, и уж сама я, лишь только начинала меня обуревать тоска в этой конуре, тотчас же напоминала ему и предлагала свое услужение.

— Не помыться ли вам, батюшка? — говорила я. — Вьюга на дворе.

Началось с того, что он однажды, когда я уже поправи-лась, запел «Метелицу». Я ахнула от его голоса. Ну, может ли быть у сташестилетнего старца такой чистый, правда, очень слабоватый, зато такой печальный голос? Сидел он сперва смирнехонько да в оконце все посматривал. Зима в тот год была дружная, нас вскоре замело совсем. Гудело в тот вечер над нами во все гнусавые голоса, а попик мой сидит у оконца да думает чего-то. И вдруг — как запоет. И не так чтоб подготовиться, чтоб настроиться, а сразу, во весь свой голос, всем своим ребячьим тенорком:

Вдоль по улице мя-ателица
мятет...

Не успела я опомниться, сообразить, что это он, старец мой, запел, а он как вскрикнет:

За мятелицей мой ми-иленький
идет...

Точно бы видение он вызвал передо мной этой своей песней. Так и представилось мне: улица в глухой деревушке в лесу, метет по ней метелица, избы словно бы за белой дымкой маячат. А вон... вон проступает сквозь эту мглу кто-то. Как раз тот, кто совсем тебе неизвестен, но кого ждешь ты всю жизнь да и живешь ради него, незнакомого, но желанного. И вот он во мгле, в метелице, в глухой лесной, деревушке.

Да тут, тут, в этой лесной деревушке, и придет он, этот вечно незнакомый, но вечно ожидаемый, в такую метелицу, и сбудутся все мои мечты, все грезы.

...За мятелицей мой миленький
идет...

Идет мой миленький. Эвоно, идет несбыточный. Мой, но мимохожий. Ау! Ау!! Здесь я! Сюда, сюда, мой вымечтанный! Сюда, мой пригрезившийся!

«Вдоль по улице мятелица мятет. За мятелицей мой миленький идет». Ау! Ау!

Иль, знать, в сторону метелица метет? Знать, уж голос ветром сносит? В степь уносит призыв безответный, в пустыне овраги.

Вдоль по улице мятелица мятет,
За мятелицей мой миленький идет...

Идет, идет, да не доходит никогда. Так ведь вот и вся жизнь: примечается что-то, да так и останется в тумане, в снежной дымке, за метелицей.

Пока песню слушаешь — «миленький» близко, рядом, а кончилась песня — и опять на сердце пусто.

Только старец-то прозорливый понял, что он делает со мной своей песней. Понял! Да тут же в эту песню, в такое мое настроение, и вставил свою хитринку:

— Помыться бы мне, мать. Голос-то, я чувю, совсем засох у меня. Вот в кадушечке ты бы меня помыла. Помой, мать, помой горяченькой водичкой. Соломки в кадушечку постели.

С той поры и мыла я его, почитай, каждый вечер, как ребеночка. В кадушечку на соломку его посажу и напариваю его горячей водой. Такой горячей, что у самой едва руки терпят, а попик только ухает от удовольствия:

— Ух-ух, мать! Ух, хорошо-то как! Ух-ух-ух! Голосок-то, гляди, как отпаривается у меня сейчас. Ух-ух! Еще, мать! Еще! Ух-ух-ух! Хребтину-то, хребтину-то... ух-ух-ух!

С этого, почитай, каждый вечер в ту зиму и начинались его наставления, подытожившие мою жизнь. Напарившись в кадушечке, старичок забирался в постель под толстенное свое, из лоскутков, одеяльце, я его окутывала так, чтоб одеяльце это закрывало ему и подбородок, и щеки, и голову, а оставались лишь глазки, пряменький носик и бородка, расчесанная и заплетенная в косичку.

— Вот так, так, мать! Макушечку, мать, закрой еще. В макушечку дует, кажись. Вот, вот, вот! Ух-ух! — лепетал он, пока я его закутывала в одеяльце.

— Может, чайком потешитесь, батюшка? — спрашивала я.

И все равно, что бы я ни спросила, он, после бани, так вот закутавшись, тотчас же приклеивал к первому моему слову свою речь, вел наставительную беседу, точно бы и верно — мысли его, доселе «засохшие», теперь «отпарились» и заработали.

— Может, чайком потешитесь, батюшка?

— Постой, мать, зачем торопиться? Одно блюдо не доед еще, а ты уж с другим спешишь. Некуда спешить! Всякое блюдо, мать, надо досуха вылизывать. С твоей спешкой, мать, мимо своей жизни проскачешь. От таких вот, как ты, поспешных я из мира ушел сюда, к жеребцам долгогривым, к богovým невестам без сисек. Скачут сломя голову. А куда скачут? В смерть скачут.

Речь свою попик до того всякий раз гораздо выстрачивал, что он ее и примерами, и картинами, и песнями пересыпал: уж начал слушать, так и не оторвешься.

— В смерть скачут, мать. Молодость проскачут мимо, а потом и завоюют (старец запел):

Соловьем зале-оо-отным
Юность пролете-сла.

— Все, батюшка, скачут. Разве вырваться кому из общего столпотворения?

— Слепо, мать, слепо ты глядишь на жизнь. Слепцы человеки суть. Слепцы жизнь свою ведут так, чтоб к другим приспособиться, ближнему своему угодить и себе, чтоб из этой угоды себе шубу выгадать. Я наемни, мать, одного мужика на собрании в городе слушал, про будущую жизнь сказывал. Смехота, мать, смехота! Он все свое государство хочет устроить на угодье ближнему. Такая, дескать, наука, чтоб ближнему угождать, а все — ближние ему. Вот жалко, мать, что во мне керосину не хватит до той поры догореть. Я бы уж пожил в таком устройстве. Мать, мать, в левое ушко дуешь. Закрой скорее, мать.

В другой раз я его спросила:

— Все, батюшка, скачут. Как вырваться-то из всеобщего столпотворения?

— Остановись, мать. Остановись да подумай: что ты хочешь? Наплевать тебе, что другой хочет. Жизнь в том, что ты хочешь. Как придумаешь, что ты хочешь, то, коль не дурак, придумаешь, и как тебе этого достичь. Так и знай, мать: дурак — батрак, а умник — хозяин. Вторую сотню лет... Ой, мать, сядь-ка в ноги у меня, поддувает что-то! Вода сегодня не горяча была. Вторую сотню, говорю, начал, — насмотрелся, начитался и надумался. Какие, какие мудрости не выдумывались, чтоб жизнь перестроить! Только цена этим мудростям — грош. Мать, главная мудрость: не думай за других, а за себя думай. Всяк думает сам за себя. Насколько хватит в тебе мозгу, настоль тебе и счастья. Машину изобретешь —

изобретай. Изобретай, мать! Только не думай о том, сколь счастья другим ты этой машиной принесешь, а то сообрази: сколько тебе выгоды достанется от дурачков, которым такой машины не выдумать самим? Одним словом — река в половодье. Высыпь на середину народ да полюбуйся, что выйдет, коли все друг другу на помощь бросятся. Вся, мать, мудрость из того как раз образуется, что каждый схитрит и, хоть у другого на горбу, выплывет. Понятно ли, мать?

— Понятно, батюшка! Только что же мне-то, в моем положении, осталось придумать?

— Скажу, мать, скажу. Ты мне только сперва спинку потри покрепче. Хребетик самый. Нег, одеяло не тронь, а так через одеяло. Вот, вот-вот. Ух, ух-ух! Мать, скажу, скажу. Ты, мать, больше страдаешь, чем делаешь. А скажи-ка мне, что ты делала, чтоб переменить все, чтоб, как ты говоришь, на свою да на сыновню линию всю жизнь повернуть? Ну, что? Хотя бы взять, к примеру, Михайлу, которому письмо-то ты опять отравила?

— Возможности не было, старец, у меня.

— Не так, мать, не так. Много возможностей у человека, коих не зрят слепцы. Заповедей моих впредь держись, мать. И «да благо ти будет» на земле. Внимаешь ли, мать?

— Внимаю, батюшка, внимаю.

— Заповедь первая, мать: избери себе бога, потребного токмо днесь, сиянием его озарись, хлебом его насытись, благостью его упейся. Вторая заповедь: идолу поклонись, егда поклоняться ему мнози. Третья, мать: всякого жезвидетельствуй на врагов твою, реки на них всяк зол глагол, бо клевета есмь опора слабых. Заповедь четвертая: чти отца и мать, бо несть разве них человек, любящих тя. Заповедь пятая, мать: укради, бо все на земле украдено есть. Шестая заповедь: прелюбы сотвори, ибо прелюбодейство соль есть. Седьмая заповедь: тако сотвори, дабы каждый день твой был «день субботний», бо трудятся иные, разве тебе. Осмая, мать: предержащим фарисеям угодуй, реки всяку лесть, всяку хвалу, и да благо ти будет. Теперь девятая, мать: ближний твой есмь осел твой, его же впряги в клади твою. Все, мать. Все покамест. Скажи, мать, с какой из заповедей сих ты приблизилась к Михайле?

— Батюшка, да ведь я сама-то у него в паутине билась.

— А ты б его топором по затылку в укромном уголке.

— Батюшка?! Топором?!

— Топором, мать! Топором!

Такими вот беседами и подводил меня этот попик к наметенной уже моей точке. Такая ли на самом деле у него у самого была душа, только мне-то думается, что провидел он меня насквозь, доната мою душу и уж раздел, к ней прилаждался со своими наставлениями. Мне так и кажется, что прозорливостью своей он потому и прославился, что с двух слов узнавал от каждого его настоящее желание, такое, которое тот, может быть, и сам еще не знал, а только предчувствовал, и вот попик-то как раз и ударял каждому в тон его предчувствия.

Ну что ж, умные речи приятно слушать! А попик этот для меня что твой высший университет. (Замечу в скобках, что в таких вот «университетах» мы, почитай, все и воспитывались на нашем деревенском полуозу. Замечание это я вставила больше для литераторов. Они уж очень мне советовали «осветить факты», которые, дескать, на душу нашу крестьянскую влияют со стороны.)

VI

В ту весну вода — в море, а я — в путь, потому что как раз в половодье и вывело меня из этой конуры, от прозорливого попика, которого весной прикончил какой-то пьяный бандит.

Вот как это случилось. Я, живя у попика, почти никуда не показывалась. Монастырь этот, на зиму совсем заброшенный, хоть и был соседнего уезда, но от нашего села он находился всего в сорока верстах. Я побаивалась, что обо мне иронюхают и привлекут меня за восстание. Поэтому, когда к нам на огонек изредка вламывался какой-нибудь путник, я тотчас же пряталась в уголок, в темно-коричневую ширмочку, которую я старцу на кровать сделала из большого подрысника, у кого-то из монахов им украденного. Так случилось и в этот раз, когда постучался к нам разнесчастный бандюга. (В уезде в то время шныряла шайка какого-то Огольцова-Огольца.)

Только успела я в уголок, за ширмочку юркнуть, а старец сунулся было отпереть, а бандит как двинет чем-то в дверь, крючок, словно пуля, взвизгнув — в противоположную стену кельи.

— Эй, святой черт! — заорал бандит. — Ты предсказывать умеешь. Предскажи, когда твоя смерть?

Оказалось, старец узнал его.

— Не кричи, пьяная харя! — завопил он на бандита. — От-

сидел в клоповнике за мои верши, еще раз посидишь. Думаешь, поц, так ему теперь и защиты нет?

— Нет, предскажи, когда ты умрешь?

Старец вдруг унылся. Как это быстро все сотворилось. Я едва успела взглянуть на них сквозь щелочку в ширмочке.

— Ну, предскажи! — скороговоркой крикнул бандит.

Старец вдруг весь подобрался, вытянулся в струнку, вскинул кверху свою головку, очень внимательно посмотрел бандиту в лицо и тихо, но очень твердо сказал:

— Сейчас.

— Угадал! — вскрикнул бандит, вскрикнул почему-то веселым голосом, точно бы загадал старцу какую-нибудь шутку, а тот отгадал. — Угадал! — и одновременно выстрелил старцу в живот, сверху вниз, так что прострелил и грудь.

Был тут такой момент: старец, видимо, хотел чем-нибудь ошеломить бандита, но когда уж увидел, что — конец, и когда бандит одну секундочку не знал, куда ему лучше выстрелить в старца, и наводил револьвером, прицеливаясь сначала в голову, потом в грудь, затем уж еще ниже опустил дуло (все это в одну, одну секундочку), старец, кажется, бросился на него в самый момент выстрела. Оттого, когда старец рухнул, мне показалось, что он успел нагнуться и схватить бандита за ноги.

Да и бандиту, должно быть, то же показалось: он вдруг отпрыгнул, выскочил за дверь и там, убегая, еще раз крикнул:

— Угадал!

Старец только и успел сунуть мне в руки ключик от своего сундучка и что-то промычать. Промаяся он каких-нибудь пять-шесть минут. Да и я в келье пробыла немногим больше. Только помню, что я совершенно машинально, повинувшись знаку старца, каким он указал мне на сундучок, передавая ключи, только потому, что знак этот очень мне запечатлелся, я открыла его сундучок и, уж не соображая ничего, без всякой цели, взяла то, что первое бросилось мне в глаза, а именно: белый конверт, который лежал сверху на темно-лиловом покрывале, вышитом малиновым и белым бисером. На это письмо, я так сразу решила, и намекнул старец.

За ночь я отмахала больше пятнадцати верст, очутилась в селе Зимарове и тут выпросилась к одним в избу, сказавши, что я ходила к раненому сыну. Уж когда выпалась у них, я вспомнила про письмо, машинально захваченное у старца в сундучке. Из него-то, из письма, я и получила первую весточку и о гнездышке своем, и о Петруше.

Письмо это попик получил от Михайлы Кренева да припрятал его от меня, боясь, что я уйду от него и некому будет пропаривать его в кадушечке, некому будет кутать его в одеяльце и скрашивать его дни.

Михайло описывал ему, что дом мой и мои амбары, из которых взяли только весь хлеб, Савёл Марченко собственноручно опечатал и приказал никому не касаться к его печати. Главное — о Петруше сообщал он, о человеке в бобровой шапке, которого якобы он сам, Михайла, видел у Савёла Марченко на другой день, как он отвез Николая и Маню Казимирову к большевикам.

У меня сразу же мелькнула мысль, что Петя условился с Савёлом, и Савёл из-за дружбы Петруши с покойным Алексеем Мысагиным-Клемашевым решил как-то помочь Петруше, тайно от всех.

Больше месяца я тогда гонялась по городам, по селам, на паровозах, на буферах, на крышах вагонных в поисках Савёла Марченко. Отряд его я настигла на южном фронте, за станцией Давыдовка. Наткнулась я на их эшелон ночью. Я не знала, что они, и подошла к одной теплушке просить, чтобы меня подвезли ближе к позиции, так как, дескать, я разыскиваю Савёла Марченко. Тут вдруг и наскочила я на земляка, на нашего матроса Аниску. наших сельских, оказалось, много ушло добровольцами с Савёлом Марченко. Аниска очень мне обрадовался: на Петрушу он зла никакого не имел, а меня в селе всегда уважал. Лишь только он увидел и узнал меня, как тут же выпрыгнул из теплушки, хотя поезд уже трогался.

— Братишки, своя, своя! — закричал, подсаживая меня в вагон. — Прасковья, батюшки, да как ты сюда?

— Савёла, — говорю, — разыскиваю, Анисий.

— Савёла? Да Савёл здесь, в головном, должно. Выгрузаться будем — увидитесь. А Петр-то Ефимыч, слышала?

— Анисий, что?

— Да как же! Перебежал он. Около Воронежа еще перебежал от нас. А ведь как сражался! Прасковья, — огонь! Огонь, а вот перебежал! И ведь то чудно, Прасковья: когда отступали мы, он как черт дрался, а когда мы беляков прогнали назад, он перебежал.

Тут голос чей-то с полки переспросил Аниску:

— Это про кого ты? Про Горянова?

— Да.

— А, сука! Меня, жалко, не случилось вблизи.

Тут еще голоса вмешались.

— Товарищ Савёл, — говорят, — все видел. Он как раз сам из пулемета строчил.

— Говорят, не стал по Горянову стрелять.

— Стрелял.

— Не стрелял. Кабы стрелял, ссек бы, гада.

— Стрелял, говорю тебе, да промазал!

— Товарищ Савёл промазал?! Что?! Савёл промазал?! Да ты помнишь, как он в Курбатова, с моста?

Спор этот оборвал какой-то очень пожилой красноармеец с перевязанной головой.

— Не стрелял Савёл по Горянову, — сказал он хоть и тише других, но всех сразу заставил замолчать своим голосом. — А раз так, то, значит, Савёл знал, что он делает. А нам нечего спорить.

— Не спорим, а просто — сука такой Горянов!

Мне литераторы определили так всю мою чертову жизнь.

— Прасковья, — говорили они, — вся твоя трагедия оттого приключилась, что ты не постигла тогда, не осознала идеи общества, идеи класса, а к революции, дескать, подошла ты только со своим заглавным Я и верила лишь ты только в один «крестьянский социализм».

Эх-ма! Так-то оно так, милые мои поучители, но только ведь о сыне моем говорилось, что он «гад», что он «сука». Только ведь каждый из них жалел, что он в Петрушу, в сына моего, в Горянова, не мог выстрелить, так как не случился близко в тот раз. А ведь меня-то, мать, больше всего обрадовало то, что Петрушу никто не называл Гостевым, а называли Горяновым. Значит, душой опять повернулся Петруша, душой ко мне, к ним, к Горяновым.

Ведь я уже оговорила, что со стороны я смотрела на большевиков, как на чужих, на враждебных нам с Петрушей. Мне и тогда было тошно от той неразберихи, что между ними и нами с Петрушей лежит какой-то «мост»: Николай, которого я (уже и сама не знаю, как сказать) то ли любила, то ли за сына родного считала, Савёл Марченко, покойные наши сельские большевики, мои дружки в комбеде, которых самосудом порешили у нас, «ихний шпеён» Иван, — до того мне больно и жалко его, этого «шпеёна» Ивана!

И тогда еще до крови, до муки раздирал меня вопрос: «За кого же мы — я и Петруша — идем?»

Да уж, видно, завелась машина. Да уж, видно.

Эх, яблочко, катись под горочку...

Теперь-то, сейчас-то видно мне все как на ладошке: если бы не Захряпин-вшивик да не Михайла Крнев, то уж давно бы решился этот мучительный вопрос — за кого я иду. Решился бы, да и не быть бы мне в тюрьме, не вести бы мне на смертную казнь моего страдальца — Васеньку Резцова!

Ведь если бы я знала, что над Захряпиным-вшивиком и без меня висела петля, если бы я догадалась тогда же, почему именно Савёл Марченко не стрелял в Петю, когда тот перебежал, если бы Михайла Крнев... Если бы не Николай, которому я не могла простить, что он увез себе в любовницы Маню Казимирову, Петину суженую (так ведь я тогда думала), если бы... Нет! Надо все по порядку рассказывать.

По порядку?! Да какой тут может быть порядок?

Когда эшелон выгружался прямо в поле, чтобы занять позицию, я бросилась разыскивать Савёла Марченко и заговорила с ним о Пете. Но тут вот что произошло. У всех на глазах из-за бугорка вдруг выехал верховой казак. И всем видно, что казак. Выехал он из-за бугорка и рысью поскакал к эшелону. Подъехал шагов на пятьдесят, придержал лошадь и шагом вдоль эшелона. Его, должно быть, приняли за вестового. По крайней мере, Савёл перестал со мной разговаривать и ждал, что казака пошлют к нему. А казак, проехав почти весь эшелон и все высмотрев, вдруг круто повернул лошадь, стегнул ее нагайкой и пулей полетел прочь от нас, да еще на скаку повернулся, вскинул винтовку, выстрелил в нас два раза и скрылся.

Савёл закричал. Кажется, что крикнул он мне что-то. Пока кто-нибудь успел опомниться, он вскочил на первую попавшуюся лошадь и сгоряча и с досады помчался вслед за казак. За ним поскакали еще несколько человек. Вскоре они вернулись, приволокли с собой и казака, кажется, со сломанной ногой, но Савёлу уже было не до меня. Меня прогнали в тыл. Вот и все, что я «узнала» от Савёла о Петруше.

Теперь мне кажется, будто я поняла, разобрала, что Савёл тогда крикнул мне, что, мол, «объясню все потом». Но кажется мне так потому, что теперь-то все это вскрылось. Но тогда, да и несколько лет спустя, откуда же я могла знать, что Савёл Марченко нарочно переправил Петрушу в тыл к белогвардейцам, откуда же я знала, что два ордена Красного Знамени мой Петруша получил за храбрую работу у Деникина в тылу?

Подробно... Да какие же тут могут быть подробности, если я, вернувшись после всех моих скитаний снова в село к себе, узнала, что всем заправляет у нас, всем указывает и всю Советскую власть собой у нас в селе представляет не кто иной, как Захряпин-вшивик, этот предатель Николая, этот бывший курятник купца Ушакова?

К чему же тут нужны подробности, когда этот вшивик-Захряпин, не кто другой, а он, предатель, сломал на моих дверях печать, поставленную собственноручно Савёлом Марченко, светлым из светлых людей, когда он, Захряпин, растащил все мое по жердочке, когда у него в избе, ночью подкравшись, я увидела своих два плетеных кресла и высокие, до потолка, часы с медным маятником величиной в тарелку.

Часы... Эти часы... Да через эти часы я и подожгла его избу в самую сухую погоду, да еще днем. Как раз в этот пожар и натолкнул меня Михайло Кренев на мысль «съякшать» человечка три-четыре да потихонечку и «разделаться» с «чужаками», которых у нас в волисполкоме было трое.

Мне говорят: «Из-за деревьев ты и леса не увидела».

Вот в том-то и беда наша, деревенских, что «деревья-то» эти, вшивики-то эти Захряпины, так в первое время присосались к Советской власти в нашей глуши, что вовсе загородили от нас «лес», закрыли собой и Савёла Марченко, и Николая Парфеныча, они же и поставили свои мерзкие пятна на чистую кровь Данилова и «ихнего шпеёна» Ивана.

К тому же я тогда, наводя тайные справки о Петруше, узнала, что Савёл Марченко был комиссаром Н-ской пехотной школы, но он заболел гриппом, застудился, на легких у него, простреленных в бою, образовался нарыв, и он умер на второй день после операции. До того мне было больно за Савёла, до того озлобилась я на Захряпина, что уж ни капельки сомнения не возникло у меня.

С него, с Захряпина, мы и начали. Его, вшивика, первым и ухлопал посланный мной Вася Резцов.

Других путей я тогда не видела вовсе. Тем горше, тем больше, тем мучительней разрешался мой вопрос — за кбо я иду, когда я узнала, что Захряпина-вшивика уже и без меня разоблачили, уж и без меня были сочтены минуты этого предателя.

Но злобе моей, ненависти моей, знать, суждено было захлестнуть меня в окончательную петлю после того, как в самый разгар нашего бандитизма я узнала, что Петруша мой жив, что он в Москве, на большой должности. А главное,

я узнала, что теперь фамилия его не Горянов и не Гостев, а Штейерман (эту фамилию он носил у Деникина в тылу).

Я тогда была уверена, что Петя скрывается под фамилией этой и уж никак не бросил свою партию.

В Москве, в кабинете у него, я и увиделась с ним после долгих, после тяжких лет разлуки. В кабинете у него меня и арестовали.

Петр! Петруша! Петр Горянов-Гостев-Штейерман! Могла ли я, деревенская баба Прасковья, постигнуть, что ты, первенец мой, настолько переродился душой своей, что не меня, мать, и не себя, а революцию ты поставил выше и главнее всего?!

Теперь я — старуха, гнилая картофелина, но, Петр, я постигаю, душой своей постигаю, что ты прав, что не детским сердечком, для которого я берегла твою первую распашоночку с полинялой зеленой ленточкой, не такой нежной душой творится революция, а иной — железной душой, такой, какая у тебя сейчас, мой Петр!

Но тогда, но в те часы, когда я рассказывала тебе все, во всем открылась и призналась, когда ты, мой Петруша, мой младенец, тискавший своими первыми зубками мои сосцы, ты первый поднял на меня руку, ты позвонил в телефон, чтобы меня забрали, — тогда, Петр, я ослепла от злобы и ненависти к тебе, тогда, Петр, первое, что я подумала, так это было мое подозрение, что ты мстишь мне за покойного твоего отца, что и равнодушие твое ко мне всегдашнее тем только и объясняется, что ты веришь, будто я — любовница Михайла Кренева и с ним заодно погубила Ефима.

Петр, я ведь уже во время следствия по нашему делу знала, что на суде ты будешь свидетелем против меня. Поэтому я и отказалась выйти к тебе на свидание, поэтому я и отсылала назад нетронутыми все ваши мне передачи.

Не за себя, Петр, а за других, которых я тебе, как сыну, раскрыла, за страдальца Васеньку, я терзалась в своей одиночке. Михайлу Кренева мне было не жаль, ему конец через меня на руду был назначен, но Васю, Васю, которого я предала, — его злосчастная судьба бросила меня в отчаяние.

Когда наше следствие было закончено и нам объявили, что судить нас повезут на место нашего преступления — к нам, в Журавинку, — я решила потребовать закрытого свидания с Васей, объявив следователю, что я Василия жена.

Вот этим свиданием и усугубила я его тяжкий крест: я, как женщина, ошиблась, добившись этого закрытого свидания, к которому допускаются муж и жена.

Вдоль по улице мятелица мятет,
За мятелицей мой миленький идет...

Идет, да не доходит. Вот и мне бы «не дойти» до Васи, а так — за метелицей, за мглой — и остаться неизвестной для него, неизведанной, так бы и оставить мне его желание несбывшимся, так пусть бы и утешился он последние деньки этим своим несбывшимся, недостигнутым желанием, этой нераскрытой «тайной».

Ой, часто, много я тогда в камере думала об этом! Часто вспоминалось мне его молчаливое, скрытое желание обладать мной, упиться мной. Уж потом, видно, оно, это его желание, стало таким нестерпимым, что близко, совсем близко я допускала его к «тайне», но удерживала, но только сулила и откладывала.

В ту ночь, когда к Захряпину в поле я его послала, когда он перед самым уходом, в избе у меня, в темноте, притиснулся ко мне и заскрипел зубами, я тихонько оттолкнула его и шепнула:

— Постой... Оттуда придешь, Васенька.

И он отошел да и убежал бегом из избы, послушный такой. В эту ночь я ждала его. Но он прикончил Захряпина в поле, а ко мне не вернулся. Утром рано ко мне пришел Михайла Кренев и сказал:

— Паня, Захряпина с поля повезли.

Здесь, в тюрьме, я и решила утешить его и потребовала свидания с ним, как со своим мужем.

Одно твердо знаю я: ничего, кроме самого горького разочарования, я не принесла ему этим своим поступком.

Да и чего я могла дать ему, если сама-то я чувствовала, что фальшивиг всякое мое движение, что не по-настоящемухватило меня, и трепет мой — поддельный, что все лишь для того, чтоб ему только показалось.

Дура старая! Мне ли было не знать, что в этом никого нельзя обмануть! Оттого и разошлись мы тогда с Васей пустые, опустошенные до дна.

Даже и в этом моем желании, маленьком, ничтожном, что я хотела бы в тот час, даже и в нем тогда отказала мне моя горькая доля.

Холодная, пустая злоба и ненависть — вот что осталось у меня, вот с чем и повезли меня на суд к нам, в Журавинку.

Я уже написала в самом начале хроники, что было решено уж я прикончить себя у судьбы на глазах. При такой пустоте своей душевной я только и тешилась тем, что не успеет никто глазом моргнуть, как я раскрою себе висок об острую железную тумбочку у школы.

Хоть и оттепель была, но было холодно. Сырой, тяжелый ветер дул, а я села в сани в одной холодной кожаной тужурке, в легком ситцевом платочке и в нагольных сапогах.

Пятнадцать верст ехала я в такой одежде, скорчившись в санях и приткнув стиснутые кулаки к холодным губам. Другие слезали, прыгали за санями, грелись, а я, почитай, всю дорогу не шелохнулась, не подняла ни на кого глаз. Только раза два-три я вскидывалась и сбрасывала с себя какой-то полдубок, которым меня насильно хотели накрыть конвойные.

Помню, Михайла Кренев урвал минутку и прошептал мне тихо:

— Паня, накройся — помрешь.

Вот и село наше. Толпа встретила меня за селом, толпой провожала по селу, толпа ждала и у школы.

Тут, у школы, и надломилась вся моя уверенность в своей правоте.

Толпа, народ — но я ни на кого ни разу не подняла глаз. Я знала, что где-то тут и мой Петр, откуда-то и он увидит под конвоем свою мать, почерневшую от стужи.

Гляди, любуйся, миленький сынок. Любуйся! А сейчас, сейчас не то еще увидишь ты. Вот — тумбочка... крайняя к двери... за проволоку будто поскользнулась, и... виском... со всего размаху.

Не вам, не вам судить меня! Сама я себе — судья, сама себе — палач.

Вдруг крик:

— Мама! Мама!

Ее, Машин, Маши Казимировой, Петрушиной жены, крик, пронизавший мне самое сердце.

Петр! И в этом — в этом, что я не знала, что Маня твоя, что она с тобой, — и в этом теперь я не виню тебя. Не тебе, с таким трудом искупившему свою тяжкую вину перед революцией, не тебе было помогать и возобновлять связь с де-

ревней Журавинкой, со страшным твоим здесь прошлым, к которому я, я одна была «неразрушенным мостом».

Теперь-то и мне понятно, что врасплох застала революция меня и всю нашу Журавинку, что без Николая, без Савёла Марченко мы заблудился бы вовсе в нашем темном лесу, что они-то и вывели нас из трясины непролазной.

— Мама! Мама!

В один миг все кверху дном перевернулось во мне. Ни я, да и никто не успел опомниться, когда Маня подлетела ко мне, она, у которой, знать, сердце застыло от одного взгляда на меня, почерневшую от стужи. Она тотчас же, в одну секунду, накинула на меня свою старую толстую и теплую черную шаль, закутала меня в нее с головы, сжала, стиснула и только лопочет тихо:

— Мама, мама. Петя не виноват. Петя не виноват.

Ее насилу оторвали от меня и отвели. А я, закутанная в ее шаль, почувствовала вдруг, что согрелась я каким-то чудесным теплом, знакомым, напомнившим мне тот давнишний день, когда она впервые встретилась со мной в поле, окутала меня вот так же этой шалью и глазами своими навек взяла в плен. Под шалью, под этим черным покрывалом, мне было темно, тепло, мне стало как-то по-иному удобно.

Я уже говорила вначале, что в злобе своей, в ненависти мне вдруг захотелось плюнуть судьбе в лицо. И вот, хоть уж после Маниного крика: «Мама!» — надломилось во мне все, но я еще находилась во власти какой-то машинальности, во власти задуманного. Тумбочка железная, остренький уголок ее — вот что единственное мелькало передо мной во всей, очень подробной ясности. Я даже не сознавала сама, когда я успела высмотреть все подробности этой, намеченной мной тумбочки: близость ее к двери, утопанный снег и сама железная тумбочка, мокрая и черная от мягкой, липкой изморози. Только это и витало во всей ясности в моих глазах, в моем воображении.

Вдруг слышу говор:

— Судья... судья вышел... Вон этот — судья.

Я подняла голову и раскрыла шаль.

Судья!

Кто, кто же мой судья?!

Помню только, что я вскрикнула:

— Николай!